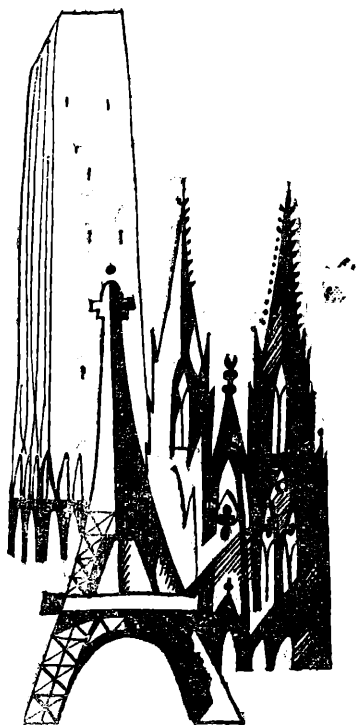




АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

**ГДЕ
ШУМЯТ
ЧУЖИЕ
ГОРОДА**



АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

**ГДЕ
ШУМЯТ
ЧУЖИЕ
ГОРОДА**

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

33И
В49



© Издательство «Молодая гвардия», 1974 г.

В $\frac{11105-305}{078(02)-74}$ 129-73

Очерки этой книги написаны в разные годы. Время глядит на меня истертыми блокнотами, скупыми пометками и торопливыми записями. Кажется, что все это было недавно. Хорошо помнишь лица собеседников, приметы времени, обличье городов и стран. А поглядишь на календарь, полистаешь газеты, послушаешь эфир — и убеждаешься: к счастью, уходит все дальше в историю недавнее и тревожное время; то время, когда близорукие политики Запада тешили себя сомнительной надеждой, что худой мир лучше доброй ссоры, а злые руки политических безумцев тянулись к пусковым кнопкам баллистических ракет, когда классовая ограниченность империалистов порождала у них опасные иллюзии, самоуверенные доктрины, сумасбродные планы.

То были нервные, изнуряющие годы. Социалистический лагерь неустанно обращал к миру мудрые и понятные слова, полные прозорливости и реализма. Но долго, слишком долго оставалась глухой к голосу разума противоборствующая капиталистическая система. Потому что продолжала упрямо верить в силу, в безнаказанность своих авантюр, в слабость социалистического лагеря, в политическую инфантильность своих народов. Осознание реальностей мира наступает медленно и мучительно. Дальковидные политики Запада начинают понимать, что в спровоцированном конфликте капитализму не пожинать победу, что уважение и признательность ищут не в международных интригах, а за столом переговоров. Постепенно проясняется небо над планетой, спокойнее вздыхают люди, встречаются лидеры великих держав, а большая и разноязыкая европейская семья впервые собралась за столом переговоров, чтобы подумать о мирном будущем старого континента.

Освежающими ветрами прошумели над планетой последние годы. Они заметно расчистили международный горизонт, одали землю не только ласковым теплом, но и большими на-

деждами на лучшие отношения между народами. В эти годы люди стали особенно осознавать истинную цену такому желанному слову — мир. Мир — это прелесть труда, а не тяготы и лишения войны. Мир — это тихие рассветы, напоенные дождями поля, а не зарево пожарищ и грохот пушек. Мир — это люди, засевающие нивы и строящие дома, а не солдаты, уничтожающие жилища. Мир — это когда в глазах разноязыких людей не озлобленность и недоверие, а понимание и дружелюбие.

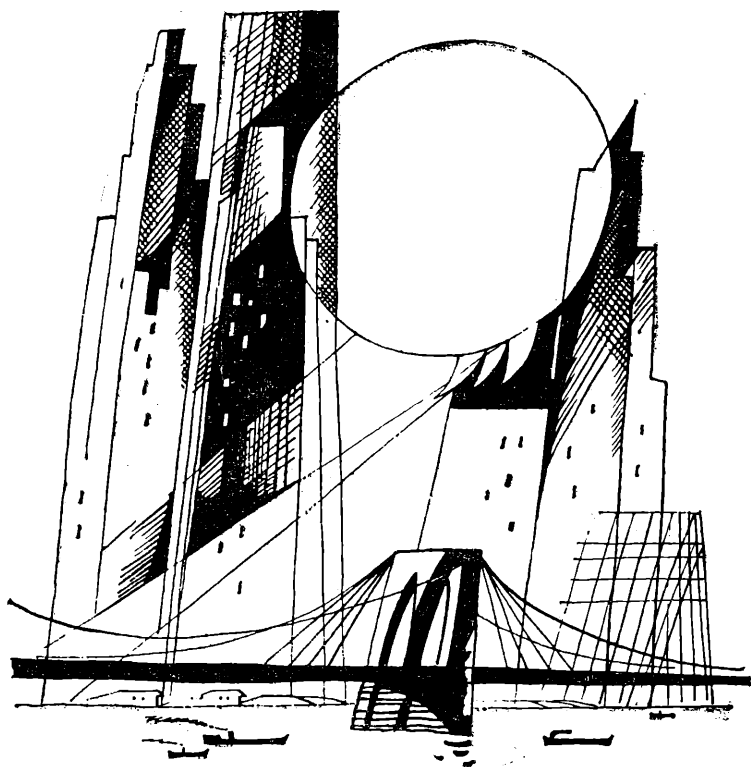
И еще одно уяснили люди — за мир надо бороться. Всегда и везде, без усталости и настойчиво.

Очень противоречива и сложна наша планета. Огромная и маленькая, единая и разноликая, голубая и зеленая. Бетонированная Америка и племена папуасов, еще не шагнувшие к эпохе железа. Богатые американки, рожающие в стерильных камерах, и умирающие от недоедания младенцы в Латинской Америке, конкурсы пианистов, которые патронирует королева Нидерландов, и коренные жители, загнанные в постыдные резервации на земле Южной Африки. Планета, где еще не смолкают пушки, где не уничтожен позорный расизм и где за свободу расплачиваются жизнью.

Созидая новое будущее, надо всегда помнить о минувшем, радуясь первым успехам в борьбе за мир, не следует забывать о недалеком прошлом. О первых нелегких шагах, которые вели к началу взаимопонимания. О недавнем времени, когда только начинали подтаивать первые льдины «холодной войны».

В этой книжке нет сквозного сюжета, она не носит характера страноведческого исследования и ни в коей мере не претендует на исчерпывающее раскрытие сложнейших проблем той или иной страны. Отдельные очерки призваны лишь рассказать о запомнившихся беседах, об увиденном когда-то и встретившемся совсем недавно. Это лишь маленькие картины из многоцветной панорамы мира, остановленные на мгновение кадры из непрерывной ленты событий.

Разные страны я посетил в разное время. И в очерках старался запечатлеть именно те дни и события, свидетелем которых был. И я не делал временных коррективов — всякие годы имеют свой колорит, выстраиваясь друг за другом, они пишут многотрудную и поучительную историю наших дней.



НЕПРИБРАННЫЙ РАЙ

Сто лет назад в прериях Северной Америки паслось семьдесят миллионов бизонов. Теперь их считанные тысячи. Зато сегодня по бетонированным автомагистралям Соединенных Штатов Америки носятся миллионы автомобилей. Триста лет назад из феодальной Европы за океан, на вновь открытые земли, хлынули переселенцы, разношерстный конгломерат искателей лучшей доли.

Сегодня на необозримых просторах раскинулась мощная страна — Соединенные Штаты Америки. Страна сплошной электрификации и хронической безработицы, осыпанных благами счастливых и обездоленных. Страна, где пикетируют Белый дом, стреляют в президентов и унижают негров. Государство, занимающее первое место в мире по числу автомобилей и душевнобольных, по количеству гангстеров и лауреатов Нобелевской премии. Где много церквей и много молитв. Откуда упала на мир первая атомная бомба и где изобрели стрептомицин.

Она и проста и сложна, эта страна, данная нам историей в качестве социально-политического антипода. Где лежит твоя душа, Америка? В пленительном искусстве Вана Клиберна или в мощи и всеилии военно-промышленного комплекса? В трезвом реализме отдельных государственных деятелей или в воинствующей непримиримости «ястребов холодной войны»? В дружелюбии и демократизме широких народных масс или в милитаризме влиятельных правых кругов?

Сегодня новые ветры подули над этой страной. Идет конструктивный диалог с социалистическим лагерем, пересматриваются ортодоксальные доктрины послевоенного времени. Мучительно расставаться с ролью гегемона и международного жандарма, поэтому пересмотр концепций, что лежали в основе всей политики страны, носит нелегкий и затяжной характер: он сталкивает различные социальные круги в остром противоборстве, вызывает широкий общественный резонанс. Но этот процесс необратим, и большинство здравомыслящих американцев поддерживает новый внешнеполитический курс.

Когда я был в Соединенных Штатах Америки, о новых веяниях не было еще и речи. Конечно, простые американцы отлично осознавали, что агрессивный и вызывающий курс их страны по отношению к другим народам не пользуется поддержкой и симпатией в мире. Но государственные деятели тогда уповали на политику силы, считая ее действенным рычагом для разрешения всех противоречий современного мира. Тогда честная Америка смело выступила против вьетнамской авантюры своего правительства. Стыд и позор Америки — война во Вьетнаме — размежевали в то время все население страны на два противоборствующих

лагеря. Споры и схватки шли на трибунах конгресса, в правительственных учреждениях, в финансовых офисах, на улицах и в гостиных, в студенческих аудиториях и в заводских корпусах. И в наших разговорах с американцами непреходящей темой был Вьетнам.

Сегодня, когда погашен огонь войны в Индокитае и новый курс правительства дает первые добрые всходы, небезынтересно будет оглянуться назад и посмотреть, какими нелегкими дорогами шла эта страна к пониманию и осознанию своей действительной роли в сегодняшнем мире.

НОКТЕЙЛИ? ПОТОМ

Зябнет Вашингтон ненастным декабрьским днем. Город нахохлился, помрачнел. Рваные тучи кропят и кропят фасады казенных зданий, оставляя грязные разводы на стенах. Даже праздничные оргии рекламы не могут скрасить угрюмость серенького дня. Жалобно тренькают колокольчики рождественских зазывал, лениво раскланиваются в витринах красноносые Санта Клаусы.

На чугунной ограде Белого дома дрожат серые капли, блестит подстриженная лужайка, а сам дом прячется в туманном покрывале. Рослые полицейские мерно печатают шаг. Тысячи две студентов, промокшие, в разноцветных плащах, с гитарами и саксофонами пикетируют Белый дом. Щурится двухметровый сержант и никак не возьмет в толк: на кой черт собралась эта братия? В такую непогоду, да еще в канун рождества? Сейчас бы им в самый раз глазеть на витрины, где вовсю идет распродажа, присматривать подарки для родных и знакомых, а они притащились в такую слякоть к ограде Белого дома. Сержант не ахти уж как разбирается в политике, но смысл этой фразы: «Мы не хотим умирать в джунглях Вьетнама, иди туда сам» — ясен и ему... Пяти минут вполне хватило бы... Но пока нет приказа, манифестация студентов не носит насильственного характера. А быть готовыми — что ж, они всегда. Сержант зол, что горячее слово «Вьетнам» как-то отодвинуло милое «рождество», такое с детства привычное, домашнее, праздничное.

И небо, серое и промозглое, в союзе с этими. Непогода гасит праздничность.

На Арлингтонском кладбище промокший ветер пошевеливает волглую листву. Она податливым ковром пружинит под ногами. На кладбище тихо и скорбно. Большие поляны разграфлены грустными пунктирами — строгими надгробиями солдат. Белые цепочки взбегают на пригорок и уходят в сторону дворца генерала Ли.

Много их, этих жутких вешек небытия. Сотни и сотни! Я гляжу на мертвый строй мертвых солдат, а перед глазами встает скорбный гранит Пискаревского кладбища, где спят — миллионами мерилось наше горе — спят мои земляки-ленинградцы, мои родственники, спит мой отец.

Горе любых масштабов — всегда горе. Я иду мимо обелисков американских парней. Имя и фамилия, год рождения и дата гибели. Небольшой отрезок между датами. Какие они были, о чем думали, за что сражались? Ну вот хотя бы Майкл Реннет. Скупое отмерила ему жизнь — всего двадцать два. Погиб в сорок четвертом... Это Нормандия, высадка союзных войск, первые раскаты основательно запоздавшего второго фронта. Ручная белка тарасит на меня бусинки удивленных глаз — посетители здесь не так уж часты. Вглядываюсь: Дик Харрисон, гонял караваны в Мурманск, транспорт торпедирован фашистской подводной лодкой. Мне почему-то видится этот Дик моряком с открытым лицом и очень добрыми глазами. Это, наверное, оттого, что образ незнакомого человека слился с теми далекими годами, когда шли эти ребята на дело справедливое и благородное.

Вымытая дождем дорожка ведет в глубь кладбища, где оголенные сучья скрипучих деревьев склонились к строгой могиле Джона Кеннеди. Наемные руки убийц застрелили тридцать пятого президента Соединенных Штатов Америки, и он обрел место последнего успокоения здесь, на воинском кладбище, рядом с солдатскими обелисками.

Я смотрю на большой пустырь, где с американской скрупулезностью размечены новые площади под будущие могилы, для последнего приюта еще живых, улыбающихся американских парней. Тут же лежат родившиеся в сорок пятом. Они теперь в цинко-

вых гробах, укрытые звездным флагом, ложатся рядом с Диком и Майклом, недалеко от могилы президента.

Еще и еще раз взвешиваю чеканную афористичность поговорки: «Мертвые сраму не имут».

Да, смерть уравнивает всех.

Но только не жизнь. Дик шел против газовых печей Освенцима, а вот этот двадцатилетний Роберт Бокес сеял напалм на головы детей и женщин. Может быть, и не он, хотя скупом помечено — погиб в Южном Вьетнаме. А кто же? Напалм и морская пехота в роли карателей, убийство беззащитных — понятия не абстрактные, у этих позорных акций были конкретные исполнители.

По американскому телевидению я смотрел потрясающие обыденной жестокостью кадры документального кино. Вьетнамская деревушка в джунглях, обезлюдевшая, пригнущая, только стар и млад остались в ней. Со всех сторон, бесшабашно стреляя, врываются в нее морские пехотинцы. Перекошенные от страха детские лица, заломленные в горе руки матерей, беспомощные старики под дулами автоматов и гогочущая солдатская масса, поджигающая хижины.

Вьетнам со всей горячей ненавистью страны, подвергшейся разбою, обвинял с экрана. Обвинял этих, безусых, и тех, кто послал их в такую даль грабить и убивать.

Мы сидим в уютной гостиной мистера Ванденберга. Высокий приветливый хозяин, его не потерявшая еще очарования молодости жена очень гостеприимны. Когда-то дед Ванденберга переселился сюда из туманных Нидерландов. Внук в Штатах неплохо преуспел. Он показывает нам обихожное семейное гнездышко, фотографии детей, уже давно разлетевшихся по свету, их первые рисунки, милые фигурки и разные другие ребячьи вещи. Рассказывает о каждом. Дети тоже выбились в люди. Но вот мы доходим до третьего. И тут гладкий рассказ прерывается, будто мы наскочили на выбоину. Отец мрачнеет, скорбные морщины собираются в углах губ...

— Ох Анри... Вы только при жене не говорите, тотчас расплатится. Там он, — и жест куда-то в темень сумерек, где за тридцать земель, по представлениям отца, должен лежать Вьетнам. И, жадно втянув

дым сигары, уже шепотом пояснил: — Второй месяц нет вестей от мальчика.

Грешно беречь отцовские раны. Но хочется спросить, что думает он о Вьетнаме? Наш собеседник выслушивает вопросы, а потом неторопливо отвечает. Поначалу войну не осознал. Он ее просто не воспринимал, лично она его совсем не коснулась. Подумаешь, прогулка за океан нескольких тысяч парней. Так, для порядка. Недельная компания при их, американской, мощи. Потом соседи получили извещение. Их Боби погиб там. Пришла повестка и его сыну.

Мистер Ванденберг не привык к таким длинным монологам. Он жалко наклоняет голову. Удрученный горем отец.

— Теперь я понял все. И хоть я не выхожу на улицу протестовать, но эту войну тоже считаю самой отвратительной, какую когда-либо вела наша страна. Вот соберутся мои гости, спросите об этой войне. Уверяю, мало кто ее одобрит.

Я слушаю исповедь хозяина и вспоминаю жаркую встречу с бурлящей студенческой аудиторией в Принстоне. В этой цитадели благопристойности и аристократизма в тот день бушевали жаркие страсти и горячие споры. Университет, из стен которого вышел не один президент, наверное, давно не видел такой шумной сходки. В аудитории все ходило ходуном: студенты обсуждали вьетнамскую проблему. Представитель властей штата пытался делать что-то вроде доклада. Недюжинный ораторский дар не спас докладчика. И голосом его бог не обидел, а вот перекричать свистящую, улюлюкающую аудиторию он был не в силах. Он доказывал, оправдывал, что-то говорил о «коммунистической опасности», о справедливой миссии, а мощное «позор, позор!» глушило его слова. Сконфуженный, он неловко спускался со сцены.

К трибуне протиснулся очкастый парень, которому из зала фамильярно кричали: «Давай, Герберт, валяй!» Он только что вернулся из Вашингтона. В студенческой колонне шел пешком в столицу, протестовал, пикетировал Белый дом. Об этом он и рассказывал шумной аудитории. Он без конца повторял: «А пусть президент объяснит». И далее следовал перечень вопросов.

Даже не верилось в такое единодушие. Разнород-

ный зал, у многих противоположные воззрения, а вот в этом едины. Правда, нашелся один. Он сумел переждать шум, вынырнуть на трибуну и бросить в микрофон свое:

— Уйдем из Вьетнама мы — придут Советы.

Чей-то звонкий голос резко отпарировал ему:

— Во Вьетнаме американцы, а Советы у себя дома работают. Новое пугало придумайте.

Американцы любят свистеть: одобряя или возмущаясь, смотря по ситуации. И особенно молодежь. Пожилые предпочитают пофилософствовать. Уютный камин и внимательный собеседник — самые идеальные условия для неторопливого разговора. Были разные каминные и разные люди. И степень гостеприимства не была одинаковой. По соображениям финансовым и политическим, что ж, и такое случалось. И круг тем необъятный: от коммунизма до Сезанна и от раковых заболеваний до кинокартин Феллини. Но непреходящей темой был Вьетнам. Самая горячая точка нашей планеты. Совесть и стыд Америки, гнетущий ее позор.

Хотя каждый вечер всесильное телевидение сластило хину, выбрасывая слезливо-патриотическую стряпню на темы Вьетнама по всем стандартам боевиков, потрафляя всем вкусам. Примерно в таком плане... Два солдата заблудились в джунглях. (Кино и без женщины? Да нет, так не сделают. Рано роптать.) В следующем кадре экстравагантная амазонка. Она любит одного, второй заглядывается на нее. Любовь в комьях земли, разорванное платье, свист мин — ну разве не щекочет нервы! Чего еще не хватает в этом суррогате? Ах, отсутствует драка. Здесь дело за немногим. Возвращается любимый и давай колошматить соперника. Потом надрывное примирение. И, наконец, скитальцы попадают к южновьетнамскому воинству. Слезы, умиление — прямо манная каша и слюнявчик на грудь. А потом возвращение в Штаты. (К концу тоже кое-что припасено.) Эта отчаянная девица была инкогнито. А на самом деле? Обалдевший жених узнает, что его согрешившая подруга — дочь миллиардера, и он, нищий, враз стал богачом. Лихо сверстано.

Хотя... Об этом стоит рассказать подробнее. Группу советских журналистов решил принять Аверелл

Гарриман. Было лестно, что один из рулевых внешней политики, советник многих президентов согласен за- просто ответить на наши вопросы. Мы готовились к этой встрече со всей серьезностью. Опять вспомнилась Великая Отечественная война. В те грозные годы мистер Гарриман жил в Москве. Посол Соединенных Штатов в СССР, он тоже внес свою лепту в разгром фашизма. Мы знали об этих заслугах и о возрасте высокого собеседника, о его опыте и государственной мудрости. Он начал встречу остроумно, изящно, что ли. Прирожденный дипломат, обходительные манеры, великолепный язык. И удивительная выдержка. Ответы лаконичные, глубокие. Вопрос: Вьетнам?

Он задумывается, улыбается и обезоруживающе бросает: «Конечно, ожидал этого вопроса. Хорошо. Сперва Вьетнам, потом коктейли».

Мистер Гарриман начинает издали, с какой-то предыстории. О том, что его страна — слуга правопорядка и единственная ее цель — справедливость. Он жалуется на тяготы, которые наложены на его страну столь высокой миссией, на непонимание некоторыми странами истинных целей и задач США.

Мы поддерживаем тезис насчет целей и тоже замечаем, что если он их нам разъяснит, то мы будем благодарны.

Не знаю, как кто, но я еще раз убедился в меткости пословицы о языке и дипломате. Когда-то железнодорожный магнат Аверелл Гарриман говорил иначе. О горячо любимых Штатах в минуту откровенности он выразился лаконично и верно. Что ведут они себя «по отношению к другим народам как диктатор». А сейчас в мягком, вкрадчивом монологе фигурировали преимущественно слова о свободе и гуманности. Мы говорим об убитых женщинах, о варварских бомбардировках, о пепелищах, а в ответ течет вежливая речь, прерываемая вздохами, сожалениями. Аверелл Гарриман диалог заканчивает неожиданным резюме:

— Одним словом, господа, подавляющая часть населения нашей страны одобряет политику президента во Вьетнаме.

Мы, конечно, не представляем институт Гэллапа и опросов общественного мнения не проводим. Но наши встречи, сотни разговоров! Мы возражаем. Вот все-таки что значит находчивость дипломата! С оборо-

жительной улыбкой оппонент объявляет, что, видимо, мы не с теми беседовали.

Гарриман говорит об ООН. США хотят жаловаться на Вьетнам. И как-то скорбно сложил губы. Здесь уж нам трудно сдержать улыбку. Подумалось: а нелегко быть Гарриманом. И возраст, и опыт, и эрудиция — все есть, а попробуй-ка выдай черное за белое. Нелегко... Мистер Гарриман, видимо, и сам это почувствовал. Поймав нить оборванного разговора, живо поинтересовался, были ли мы в ООН и как нам там понравилось?

Ну зачем пересказывать ему наши мимолетные, очень фрагментарные впечатления? Сто раз говорено о здании на Ист-Ривер. О его неповторимой архитектуре, о гении зодчих и о высоком сервисе технических служб ООН, об анфиладе залов, роскошных холлах и уютных гостиных.

Есть одна комната, о которой можно сказать Гарриману. Уж ему-то она знакома. В протоколах ее именуют «комнатой сосредоточения», а в журналистских кругах называют проще — «комнатой неиспользованных возможностей».

...Темнота. Свет чуть пробивается из пола. Свет холодный, мертвенный. Посредине комнаты стоит гроб. Он выполнен в абстрактной манере. Чтобы не обидеть представителей разных религий. А мыслили строители ООН примерно так: дипломат, кому вверены судьбы многих, перед принятием ответственного решения должен прийти сюда и побыть здесь в одиночестве. Поразмыслить о жизни и смерти. О близком их соседстве. О своей ответственности. И только потом голосовать.

Тогда, в ООН, мне подумалось: наверное, редко заходят сюда некоторые представители, не бывают наедине со своей совестью. Не часто думают о жизни и смерти.

АТОМНЫЙ ПАСЬЯНС

В доме этого озорного и очень симпатичного мальчишки я прожил целую неделю. Время вполне достаточное, чтобы сдружиться двум мужчинам. На третий день он поверял мне все мальчишеские тайны, а их у первоклассника немало.

Утром Томи кричал мне «монинг!», как и положено примерному мальчику в воспитанной американской семье. А потом, забыв о солидности, стремглав подбегал. Он тащил новые игрушки, щелкал, стрелял, скручивал одеяло.

Но утро, как и везде, скупо на время. Из старинных английских часов степенно выходил рыцарь, стучал алебардой, и осипшие от возраста часы натужно били семь раз. Мы наспех глотали свой завтрак и вприпрыжку мчались в школу.

Моя дружба льстила малышу. Он не скрывал торжества, глядя на своих товарищей. Еще бы: не каждого ведет в школу дядя из далекой страны, которая называется Советский Союз, многие мальчишки о ней даже и не знают.

Я медленно возвращался назад через осенний ненастный парк, и, честное слово, что-то теплое рождалось в душе. Наверное, отводить в школу ребенка — это очень красивое, мужское дело.

К концу недели, когда нужно было уже уезжать из гостеприимной семьи, я ощутил, что какое-то время мне будет не хватать этого вихрастого малыша. На столике у Томи оставалась фотография моего сына. И мне захотелось мысленно заглянуть вперед. Попытаться представить, а какими же парнями будут они в семнадцать? Захотелось пристальнее взглянуть на мир, который окружает и повседневно воспитывает Томи.

Мальчишки не любят играть в куклы. Томи тоже игнорирует их. Он с удовольствием лепит из пластилина, строгают, забивает гвозди, пилит и стреляет. Что-то, а игрушки его страна делает отменные. Любвеобильные родители не скупятся на подарки. Мак, его папа, добрый человек и чуткий семьянин, частый гость в магазинах игрушек. Он совсем не воинственный человек, этот тихий инженер, сам в прошлом военный. Он покупает сыну и автоматическую железную дорогу, и разноцветный набор кубиков, из которых можно соорудить причудливый дворец гномов, но он покупает Томи и «атомную бомбу». Почему? Отец пожимает плечами: эта игрушка сделана лучше всех, да и «стреляющий» ассортимент в магазинах представлен богаче.

Я смотрю, как удивленно Томи раскладывает «атомный пасьянс». На игрушечных бомбах деловито

указано все: вес, радиус действия и ласковое уменьшительное имя. В памяти возникает: сорок пятый, август, Хиросима. И это уменьшительное имя — «Худышка». Чудовище, которое враз убило тысячи японских женщин и детей. Я прогоняю страшные воспоминания. Деловито пожевывает резинку Мак, хлопчет на кухне хозяйка, хохочет довольный Томи.

И все это рождает у меня смутное беспокойство. Я говорю об этом отцу Томи. Он сразу становится серьезным, а потом отшучивается: «Так, баловство. Не обращайтесь внимания». Но игрушку отбирает. И это атомное «великолепие» летит в ящик для мусора.

Ну одну можно выбросить, забыть о ней. Но пойдет мимо витрины Томи и выпросит что-нибудь новое, может быть, похлестче «атомного пасьянса».

И опять вспомнился мой сын. «Веселые картинки» оставлены им для младших, а он одолевает «Мурзилку». Но чудесный, подсвеченный жизнелюбием мир «Веселых картинок» не простился с ним. Дружная компания — Самоделкин, Чиполлино, Гурвинек, Незнайка — и по сей день хорошие друзья моего сына. Они первыми поведали ему о чудесном человеческом свойстве — товариществе, научили побеждать какие-то трудности, предостерегли от зазнайства и хвастовства. И так остро захотелось, чтобы Томи подружился с книжными приятелями моего сына, поиграл бы, порадовался бы вместе с ними...

Но он, нахмутив чистый лоб, разбирает игру-головоломку. Она чем-то похожа на игру наших мальчишек «Приключение Незнайки». Так же бросаешь фишку, получаешь очки и с трудом двигаешься по каверзной дороге. Ошибся, попал на синий кружок — и скатился вниз. И снова трудное восхождение вверх.

Только в игре наших ребят романтика путешествия, огорчения срывов и неудач, а у Томи трезвость бизнеса; в первой симпатичные названия: реки Огурцовая, Арбузовая, а тут удача в коммерции, взлет и падение акций.

Да, рановато Томи знакомится с языком деловых людей; ему бы еще жить в мальчишеских грезах, дружить с добрыми гномами и феями, а не колдовать над всемогущим долларом.

Невольно думаешь о тех, кто готовит детскую духовную пищу. Их изобретательности и тонкому политическому нюху только дивишься. Вроде сделано и не в лоб, и не грубо, и ярлычок безобидный — детская игрушка, но сколько классовой направленности, сколько дозированной, припудренной клеветы в адрес другого строя.

Детям выброшена новинка — книжка-игра. Название... «Путешествие Элизабет в красную Россию». (Простим лексику 20-х годов, думаю, что сейчас от слова «красный» толпами не шарахаются.) Что же рассказывают детям о нашей стране взрослые наставники? Элизабет, примерная американская девочка, вместе с няней и черепахой едут в нашу страну. В книге много рисунков — художники постарались вовсю. Пресловутый «железный занавес», о котором порядочные люди стесняются говорить теперь вслух, изображен здесь с особым старанием, выписан детально. Сюжетная сценка — пересечение границы. Десятки советских милиционеров. Суперсовременные аппараты прослушивают, прощупывают девочку, няню и черепаху. Гости дрожат от страха, как осиновые листочки. И, наконец, пробита лазейка в «железном занавесе» — три героини на нашей территории. Сверхмышленная девочка спиной чувствует взгляд пресловутого «майора Пронина». Но его, человека в штатском, на картинке не видно. Его должен отыскать острый детский глаз. Но «майор» присутствует в каждом кадре. Тренируй свою наблюдательность, высматривай, а заодно взращивай в себе подозрительность, недоверие.

Семья, в которой я жил, не жалуется эти ядовитые книжонки. Отец Томи видел русских на Эльбе, его на дешевой клевете не проведешь. А другие? Те, кто верит в «комиссаров» с пластиковыми бомбами, кто умиляется похождениями нашумевшего Джеймса Бонда? Кто оградит их детей от мутного читыва, от недобрых наставников?

Взрослые американцы, которые опекают народное просвещение, часто говорят: в школе нет целенаправленного политического воспитания. Когда побываешь в классах, поговоришь с учениками и хоть чуть проникнешься духом американской школы, как-то трудно становится соглашаться с такими утверждениями.

В классе, в спортивном зале, в бассейне, словом, где только можно, гордо реет американский флаг. Ему клянутся каждый день, его идеалам и целям поклоняются, удачи флага славословят и благословляют. Под его сенью учитель ведет разговор об американской демократии, о миролюбии государства, о щедрости властей предрежащих. Любопытный диспут шел на одном уроке. Вопрос учителя был нелегким, учитывая возраст учеников: «Каковы цели сегодняшней американской демократии?»

Ответы были разные. Отстоять ее в Южном Вьетнаме (!!!). Убедить мир, что ему нужна именно эта демократия. И самый колоритный ответ запомнился буквально в деталях. Один юноша категорично заявил: «Наша цель — установить поскорее демократию на ЛУНЕ, пока туда не пришли русские».

Это было время знаменитых космических полетов человека планеты Земля. И я жду: сейчас учитель поправит юного фантазера, растолкует, что космос — это прежде всего наука, а не дележ жизненного пространства. Но не тут-то было. Ответ посчитали в классе самым глубоким. В стиле динамичного двадцатого века — так резюмировал учитель. И долго семнадцатилетние парни и девушки говорили о своем государстве, о «непогрешимой американской демократии», о ее особой роли на нашей планете. Парадокс, но что-то заинтересовало нас в этой спокойной беседе. Не суть, нет! Форма разговора и его взвешенная целенаправленность. Ненароком подумалось: еще мало мы говорим с нашими ребятами о Родине. Досконально разбираем тонкости в отношениях между Онегиным и Татьяной, Чацким и Фамусовым, что само по себе нужно, и редко говорим: напиши сочинение о Родине, вскормившей и вырастившей тебя, расскажи о Советской Отчизне, строящей новый мир!

Я полюбил Томи, и мне захотелось рассказать вам о нем. О семилетнем американском мальчике, у которого вихор на голове точь-в-точь как у наших мальчишек, да и веснушки совсем такие же. Он только вступил в школьную жизнь. Но пройдет десять лет, он забросит игрушки, начнет, как и подобает юнцу, солидно басить. И если на уроках он будет так же говорить о целях американской демократии, значит, его наставники будут рады: парень вырос что надо.

А мне хочется, чтобы Томи по-своему увидел мир. Четко научился различать добро и зло. Ведь те, кто сегодня пикетирует Белый дом, тоже учились под звездным стягом. А вьетнамский позор Америки заставил этих парней и девочек по-иному посмотреть на свой флаг. Ведь к разумным людям с возрастом приходит прозрение.

ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ МИССИСИПИ

Да, сюда редко лежат пути-дороги советских людей. Мы все удивлены. Но ведь и впрямь летим на американский Юг, куда многим гостям Штатов заказан путь. Видимо, не зря нас принимает влиятельная молодежная организация с претенциозным названием «эксперимент международной жизни».

Через час под крылом лайнера заискрился тысячами огней не спящий даже и ночью веселый город на Мексиканском заливе — Нью-Орлеан. Помутневшим лезвием сверкнула Миссисипи, расцвеченная огнями пароходов и причалов, качнулись зеркальные воды залива — и под колесами застучал бетон аэродрома. Именно застучал, так как лихачество пилотов пощекотало наши нервы. Громадный лайнер ударился о полосу правым колесом, и мы все замерли, потом грузно качнулся, но как-то выровнялся и, к радости пассажиров, мягко покатился к расцвеченному кубу аэропорта.

Еще в Нью-Йорке и Вашингтоне люди сведущие рассказали нам о Нью-Орлеане. О пестром конгломерате его жителей. Об извечном споре французского и английского. Но особенно много говорилось о негритянской проблеме.

С ней мы уже сталкивались в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Там, в штатах, часто посещаемых иностранцами, в силу давних традиций северян расизм не бьет прямо в глаза. Его обличье припудрено, явные прорехи умело залатаны. Даже матерый расист не ударит на улице негра за то, что он черный, для собственного паблисити власти изгнали позорные таблички «только для белых». Стайки негритянских ребятишек вместе со строгими наставницами приходят в здание ООН (пусть

заикнутся иностранные дипломаты, что у нас нет равенства!), сидят в одних классах с белыми.

Во многих школах об этом прежде всего рассказывали учителя советским журналистам. Но мы заглядывали в классы, которые здесь именуют «умственно ослабленные». Пусть останется на совести теоретиков от просвещения такая унижительная классификация. В этих классах поражало одно: в них почти сплошь черные дети! Перспективы выпускников таких классов определены четко — в жизни их ждет низкооплачиваемая и грязная работа.

Хотя все не так просто в этом сложном вопросе. В колледже журналистики при Колумбийском университете, где цена за обучение по карману только богатым, учится негритянская девушка. Дочь простой работницы. Ну чем не жест? Она на полном пансионе у семьи Рокфеллеров. Убедительно для общественности и совсем не накладно для мецената.

Нет, по всему фасаду национального вопроса ретушь сделана мастерски, к косметологам придраться трудно. Начинаешь спорить, а тебе торжествующе заявят — у нас есть негры-миллионеры, негры-конгрессмены, а цветные уже давно перешагнули границы Гарлема и постепенно заселяют Нью-Йорк, и большинство жителей Вашингтона — негры. Но как-то умалчивают при этом, что белые и не хотят жить в продымленных и душных городах, а предпочитают уютные коттеджи в парковых зонах, где так тихо и столько свежего воздуха.

В Нью-Йорке, например, негры хозяйничают ночью. Гигантский город успевает за день здорово намусорить. И поздно вечером, когда гаснут зеркальные стекла шикарных небоскребов, замирают солидные учреждения, на улицы выходит громадная армия городских санитаров. Одни скребут и моют тротуары, убирают мусор. Другие привозят продукты, уничтожают отходы. В эти часы особенно ясно понимаешь смысл «интеллигентного» расизма, о котором мы услышали от одного собеседника:

«Старик Линкольн устарел. Я же не быю в морду человеку только за то, что он цветной. По-моему, драться ни к чему. А вот труд надо поделить: черный — черным, а белому — белый. Драки мы оставляем южанам».

...Автобус мчит нас по улице, густо обсаженной пальмами, утопающей в акациях. С любопытством глядяемся в толпу. Бурлящая, на первый взгляд беззаботная, как и во всех приморских городах, разноликая и по-южному многоцветная. И вдруг скрип тормозов. На перекрестке что-то случилось.

Лихой город! Захмелевший водитель влетел на перекресток при красном свете, сшиб женщину, потом отъехал, остановил машину и не торопясь направился к месту происшествия. Пострадавшая умерла мгновенно.

Мне доводилось видеть трагедии и на московских улицах. И часто они случались не по вине шоферов. Но какая боль и сострадание были на их лицах, как переживали они — невольные виновники чужого горя!

А этот лихой орлеанец шел вразвалочку, не выпуская сигары из губ. Труп уже успели накрыть простыней. Парень подошел, откинул край покрывала, как-то удивительно спокойно пожал плечами и направился к полицейскому. Погибшая была цветной. Вежливый, почти дружеский разговор с блюстителем порядка. Парень уверен — выкрутится. Кому-то сунет, внесет залог, в конце концов влиятельные друзья похлопочут — и дело уладится. По крайней мере, гибель цветной не испортит его биографии и не помешает карьере. Здесь Юг, а этим сказано многое.

...Катит и катит в океан свои мутные воды великая Миссисипи. Для потомков рабов с Черного континента она стала родной рекой. Звучат и звучат тоскливые негритянские песни, наполненные раздумьями и грустью. Давно не ходят по реке колесные пароходы, а снуют по ее глади сверкающие, нарядные корабли. И нет уже хижины дяди Тома, мелькают по берегам кокетливые виллы. Но плывет над могучей рекой заунывная песня о тяжелой негритянской доле. Как будто и не прошло ста лет, вроде и не было войны Севера с Югом, пламенных речей Линкольна, неоднократных попыток приструнить расистов законодательными строгостями.

Многие остались верны себе, своему карману, расистскому балахону. Как и встарь, на улицах Орлеана негр старается быть незаметным, робко жметя к

обочине тротуара, уступая дорогу белому. Не хочешь неприятностей — будь предупредителен, забудь о человеческом достоинстве. Мало ли что на уме у белого господина, какое у него сегодня настроение. Разгневаешь его опрометчивым поступком, довольным своим видом, не слишком уважительным взглядом — и толкнет тебя встречный просто так, за здорово живешь. Побежишь жаловаться, полицейский не без удовольствия добавит еще. Вот и идут негры, униженно поглядывая на белых пешеходов, идут торопливо, стараясь побыстрее проскочить фешенебельные кварталы и нырнуть в свои грязные улочки, районы нищеты и горя.

В полдень мы ежедневно обедаем в одном и том же кафе. Сюда может зайти любой прохожий, и немало клерков из соседних офисов столуются здесь. Может зайти каждый... кроме негров.

Мы делаем хозяину рекламу. И он суетится около нас. Еще бы: в эти дни, когда многие прознали, что здесь обедают журналисты из России, в кафе яблоку негде упасть. Но для нас место всегда приготовлено. И обслуживание на высоте. Рысцой пробегаешь вдоль мраморной стойки, швыряешь на поднос понравившиеся тебе блюда и следуешь к кассе. Здесь шустрая барышня, окинув цепким взглядом поднос, мигом называет цену. Пожилой тихий негр заученно, как-то страдальчески улыбается, подхватывает поднос и несет к облюбованному тобой столику. Для нас этот эпизод унизителен: уж коли в кафе самообслуживание, то как-нибудь и сами управимся. Мы попытались воспротивиться. Негры уставились на нас — откуда, дескать, такие завелись.

Глаза хозяина кафе, излучавшие до этого приветливость, стали требовательными и недобрыми. Он сказал нам, что не нужно развращать этих ребят; мы уедем, а ему с ними работать, да и вообще либерализм северян нам следует отбросить.

Мы удивились тому, с какой злостью он сказал о северянах. А немного пригляделись и поняли. Немало лихих замашек у южан. С усмешкой говорит нам один чиновник о федеральных властях. Парадоксально, но что поделаешь, он администрацию Белого дома считает чуть ли не коммунистами. Дескать, Белый

дом уж очень робок во Вьетнаме! Бойтся коммунистов в Западной Европе, да и к Советскому Союзу не может проявить нужной твердости! А уж о неграх и говорить нечего — распустил!

Я смотрю на этого внешне симпатичного человека. Южане-плантаторы представлялись мне раньше с кольцами на животах, обязательно надевающими ночью капюшоны, чтобы припугнуть негров очередным пылающим крестом. С мрачными и свирепыми лицами. Оказывается, жестокость многолика, она рядится в благопристойные одежды, улыбается приветливо иностранцам, носит модные костюмы, танцует современные танцы и щеголяет в форменных мундирах.

Однажды мы долго бродили по антикварным улочкам старого города. Будто шагнули в прошедшие века Франции. Со всех витрин глазели минувшие эпохи, в лавчонках можно было купить разные искусные подделки, коллекцию монет Византии, гобелены и мебель Людовика XIV, мраморные статуэтки из Версаля.

Мы окунулись в мир отшумевшей старины с ее критериями прекрасного. Было интересно и грустно оттого, что первые французские поселенцы только и могли сохранить эти антикварные островки своей родины, а остальной быт растворился в ковбойских лихих нравах.

На перекрестке двух улочек, где и пешеходам трудно разойтись, приткнулся малолитражный автомобиль. Владелец оставил машину в запрещенном месте, и полицейский налепливал на ветровое стекло квитанцию — штраф. Блюститель порядка отличался кокетливой выправкой, гордой посадкой головы. Он, видимо, и сам знал о своей мужской неотразимости. Но еще и еще раз убеждался в этом, гордо глядясь в зеркальный капот оштрафованной им машины. Длинная деревянная кобура свешивалась почти до колен. Грешно не сделать такой снимок, и я осторожно навожу телеобъектив на верзилу. Сержант спиной, что ли, но почувствовал — на него смотрят.

Стремительно повернулся. Взгляды наши встретились. И вдруг он широко заулыбался. Приглашает подойти поближе. Робко двигаюсь вперед. Узнав, что я хочу его сфотографировать, охотно соглашается. И быстро принимает картинную позу. Вот уж привычка к рекламе! Ведь не знает: куда, зачем, кто сни-

мает, а все ж не вытерпел, согласился. Мы оба довольны. Он проявляет минимальное любопытство, спрашивая, откуда? Удивленно смотрит — он видит советских впервые. Задаем и мы несколько вопросов. Парень рубит сплеча. С него спрос небольшой — он колледжей не кончал. Он просто стопроцентный янки — южанин. Оцепеневший в мыслях о могуществе Америки мозг, примитивные суждения о сегодняшнем мире. Горизонты не простираются дальше родного Юга. Спрашиваем: часто ли он бывает в северных штатах? Нравится ли ему столица страны — Вашингтон?

Сержант приосанился, как-то набычился и гордо отрезал:

— Не люблю ездить к тем кисейным бабенкам, которые перед сотней негров теряются! У нас порядок, — и он тычет в околыш фуражки. — Таких парней у нас много, и те, с севера, пусть не суются — у нас здесь свои законы.

Насчет законов сержант почти прав. Конечно, основные не разнятся, но зато сколько к законам дополнительных, разъясняющих, исключаящих пунктов. Какая бездна лазеек, чтобы обойти любой закон, протолкнуть нужную поправочку, чтобы свести на нет основной текст!

Нельзя сказать, что американские законы разрешают петь гимны сексу и порнографическому буйству. Во многих штатах запрещен и стриптиз. Новый Орлеан знаменит заведениями, где выступают танцовщицы, не обременяющие себя платьем, где ежевечерне торгуют красотой женского тела.

Как только душные сумерки тропиков падают на изнывающий от зноя город, так оживают пустынные днем узкие улочки Бурбон-стрит и Рояль-стрит. Скучающая публика с пухлыми кошельками устремляется развлекаться. Трубные голоса зазывают наперебой, расхваливая прелести очередных Евы или Жаннет. Нерешительный прохожий будет втянут за рукав если не в «Синий грот», так в «Грезы старого Мартина». Минует их, все равно попадет в другие.

Однажды утром нас насмешил администратор отеля «Святой Чарльз», где мы жили. Пароход задерживался, и в холле мы начали играть в подкидного дурака.

Не успели карты сделать круг, как к нам подошел степенный и важный служащий. Пасторским тоном он заметил:

— В карты играть нельзя, это безнравственно.

Отель «Святой Чарльз» от улицы Бурбон-стрит отделяют какие-то сотни метров.

НОКТЮРНЫ ШОПЕНА

С непривычки смешно. В самом деле, тебе, взрослому дяде, на шею вешают бирку, на которой написаны латынью твои имя и фамилия. Наши общительные гиды поясняют — для удобства, чтоб сразу опознали нас хозяева, во избежание толчеи и неразберихи. У встречающих тоже будут бирки. Посмотришь на фамилию, узнаешь своего хозяина — и раскрывай объятия. Смех смехом, а очень практично: мы быстро попали в нужные руки. Рассаживаемся по машинам, и нас развозят по небольшим городкам, раскинувшимся вокруг Нью-Йорка. Каждому вручается программа нашего пребывания с вежливой и теплой преамбулой. Машинописные строки поясняют, что «многие из наших семей с радостью ожидают вашего посещения и надеются: ваш визит вам понравится. Мы приготовили интересную программу, но если кто из вас предпочтет провести время по-иному, не откажите выразить ваше желание нашим хозяевам дома, в котором вы останетесь».

Программа разнообразная, и нет повода привередничать. А пока старенький «шевроле» бойко мчит нас по бетонной автостраде. Навстречу несутся прибранные коттеджи, надраенные до блеска бензоколонки, кладбища разбитых автомобилей. Одноэтажная обихоженная Америка после гремящего гигантского Нью-Йорка кажется уютной и тихой. На моих коленях крутится как юла семилетний Томи (мальчик, о котором я уже рассказывал), который вместе с матерью приехал встречать советских гостей. Джулии разговаривать некогда, она за рулем. А стройного разговора с Томи не получается: как и у каждого семилетнего, мысли вразброс, ему поскорее хочется рассказать обо всем. С бесхитростной поспешностью Томи рассказывает о семье. Что папа Мак очень сильный и добрый.

Рано уезжает на работу и возвращается поздно. Старшая сестра — Пегги — учится в университете в другом городке, а Элли, как и он, в школе.

Информация, почерпнутая из разговора с мальчиком, дает первое представление о доме, в котором будем жить. В зеркало видно, как улыбается мама Томи, слушая болтовню сына. У нее, наверное, тоже десятки вопросов к нам, но задавать их еще не пришло время. Мы стараемся не отвлекать Джулию от дорожных знаков — ведь это в интересах и нашей безопасности.

Резкий поворот вправо, рывок в тихую аллею, и машина замирает у полуторачажного домика, очень аккуратно, ладно вписавшегося в парковый пейзаж. Мы дома, так объясняет нам хозяйка.

Быстро обживаем комнату, отведенную нам. Много поражает в этом доме. Обилие картин и репродукций. Клетка с птицами, аквариум и книги, книги. После экспозиций в музее современного искусства, где сплюснутый карбюратор, обклеенный конским волосом, нужно понимать как картину «Раздумья», эти милые репродукции убеждают, что не перекосились критерии прекрасного.

Вечером к столу собирается вся семья. Началось знакомство, неторопливое, изучающее. Сразу нравится Мак. Приземистый, сильно сбитый мужчина, все в нем пригнано ладно, будто отлита фигура разом, без доводки и шлифовки. Он шумно радуется приезду гостей. И сразу же выкладывает всю свою подноготную. Работает в телевизионной фирме инженером. Под его началом порядочно специалистов. И делают они важную — тут Мак хитро улыбается — космическую работу. Если мы хотим, то он расскажет подробнее. Не знаю, как Юра, мой товарищ, но я с трудом исправлю перегоревшую пробку (сказывается гуманитарное образование). Юра тоже солидарен со мной. Мы отказываемся вникать в тонкости заумных технических схем, о которых было заговорил Мак.

Хозяин не огорчился. Ему нравится «Столичная». Он пробовал что-то подобное, но только давно. Он был храбрым летчиком. В апреле сорок пятого его бомбардировщик делал по несколько боевых вылетов в день. Парни из пехоты на «джипах» споро катились

к Эльбе. Летчики трудились вовсю. Мак помнит последний налет на Дрезден. Город затянуло непроницаемой гарью, цели не проглядывались, они сбрасывали смерть наугад. Крошили фашизм, так говорил командир эскадрильи.

А потом Мак в составе американской группы ездил к русским. Ему понравились советские солдаты, приветливые и доброжелательные ребята, пришагавшие к Эльбе от Волги. Были искренние объятия, пили советский спирт, неделю ходили друг к другу в гости.

Джулия удивленно смотрит на мужа: видимо, не привыкла к длинным речам. А Мак раздумчиво крутит поседевшей головой и рубит ладонью воздух:

— А потом что-то случилось. Холодок пробежал и стал крепчать. Мы, которые рисковали жизнью, не всегда понимали своих политиков. Не успели закончить войну горячую, как заговорили о «холодной». Я недолго пробыл в Европе. Когда вернулся в Штаты, подуло новым ветерком. Я вроде бы выполнил свой долг солдата, а в политику вдаваться не стал. Женитьба, дети, семья...

Мак наполняет свою рюмку, широко улыбается, продолжает мысль:

— Холодные годы морозят человеческие отношения. Надо встречаться чаще. Под моей и вашими крышами. Наши политики столько страхов напускают, будто без войны не прожить, — захмелевший хозяин иронически смотрит на жену и задиристо бросает: — Не то говорю? А мне плевать на то, как надо. Я думаю вот так, а что там они...

Джулия краснеет. Вроде неловко за мужа. Нервно отшучивается:

— Переговоры надо оставить политикам. Мужчины, пощадите, поговорите о чем-нибудь другом...

Мак примирительно кивает головой и грозит нам, что сегодня только цветочки. Ягодки, дескать, завтра. Половина городка жаждет увидеть живых коммунистов. Мы отвечаем, что так и поняли. На одном из поворотов дороги мы заметили щит с очень любопытным текстом. Громадные буквы стреляли в прохожих: «Внимание, в городе русские!» Еще тогда, в машине, подумалось об аналогии с дачными калитками, на которых красуются

красноречивые предупреждения. Мы сказали об этом Маку. Когда до него дошел смысл сравнения, он долго и весело смеялся. Выходит, что мы просто не поняли тонкостей чужого языка. Афиша не угрожала, она акцентировала внимание. Дескать, не дремли, американец, рядом с тобой будут жить настоящие русские. Встречайся, выспрашивай, гляди. Не в газеты, которые пишут пристрастно, а на людей, которые только что оттуда. Злого подтекста, уверял нас Мак, и быть не могло. Мэр в их городке очень хорошо настроен к Союзу, он даже организует вечер для советских гостей. И оскорбить их он не позволит.

Наша беседа невольно лезет в высокие сферы, и Джулия приземляет ее. Теперь расспрашивают нас. Я рассказываю о своей работе, о журнале, в котором работаю. Никакого отзвука — все мое красноречие впустую. Не могу понять, отчего. Ага, не верят. И Мак подтверждает мою догадку: «Специальный журнал о природе?»... Мне приходится сходить в свою комнату и принести экземпляр журнала, чтобы у хозяев не осталось сомнений. Они все уткнулись в «Юный натуралист». Снегирь на обложке, а на страницах звери, птицы, деревья, насекомые. Мне даже нравится, с какой добросовестностью просматривается номер от корки до корки. Мои хозяева до крайности удивлены, ведь они везде слышали другое. Об однообразии наших журналов, насквозь пронизанных политическими статьями. Я достаю журнал «Вокруг света». Они, получающие «Нейшнл Географик» и «Жизнь животных», и не представляли, что «за железным занавесом» вот уже сто с лишним лет издается популярнейший географический журнал, рассказывающий обо всех странах земного шара.

С утра завертелась наша программа. Живем по законам семьи, нас принявшей, по распорядку, заведенному здесь. Смотрят на нас, приглядываемся и мы.

Семья наших хозяев интеллигентна. Здесь в большом почете музыка. И не дикие, словно сорвавшиеся с цепи мелодии, а музыка, которая пережила века, глубокая и человечная. Музицируют все. Сильные, крупные пальцы Мака, когда-то уверенно державшие штурвал самолета, стремительным челноком носятся по клавишам, вызывая к жизни ноктюрны Шопена. Но вот руки словно замирают, сосредоточиваются, и мощные аккорды

Первого концерта заполняют гостиную. Чайковский... Его играют все. Даже Томи, репертуар которого пока не вышел за рамки детских песенок и обязательных пассажижей. На магнитофонных кассетах Мака очень много записей. Целые оперы, симфонические концерты. Семья не жаловала твист, когда все помешались на нем. Есть записи хороших джазов, много пленок с легкой популярной музыкой, но нет рыдающих навзрыд электрогитар, захлебывающихся от усердия саксофонов. Мак частенько говорит: «Моя страна непостоянна и капризна в эстетических симпатиях. Только вчера взмыленные юнцы и девицы лихо отплясывали твист, боготворили его, а сегодня он пасынок, и танцевать твист — значит выглядеть старомодным».

Мы в первый же вечер были удивлены: в этом богатом доме не видно телевизора. Спросили. Мак засмеялся, интригуяюще погрозил пальцем и пригласил — пойдёмте. По скрипучей лесенке спускаемся в подвал под домом, где оборудован гараж. Здесь и стоит телевизор. Не очень почетное место, прямо скажем. Хозяин перехватывает наши удивленные взгляды, хохочет:

— Может, думали, что семья Мака жуёт резинку и целыми вечерами смотрит на экран? Как бы не так! От него много ума не наберешься. Секс да драки, насилие, убийства. Когда мультипликация — Томи смотрит, а так мальчишке ни к чему горчать у телевизора. Да и девочкам передачи нравственности не прибавят, а за ними нужен глаз да глаз, обе невесты уже. Чьи, как не отцовские, заботы?

В одно из воскресений советские журналисты играли со своими коллегами в американский футбол. Правила игры непривычны — ежеминутно возникает куча-мала, допустимы подножки, силовые приемы. Матч был дружеским, веселым, и спортивная злость укладывалась в корректные рамки. Сначала американцы объяснили нам правила, показали некоторые приемы. Одно мы уяснили твердо. Схватишь мяч — и мчись со всех ног. Будут нажимать на тебя — толкайся и сам, не давайся в руки. Главное пронести мяч, отдать своим.

Старшая дочь Мака, Пегги, тоже приехала с нами играть в футбол. Только выступала она за американскую команду.

Игра была больше комическая, чем спортивная. Обе

команды подолгу совещались, вырабатывая головоломную тактику. Но интерес к ней был огромным. Приехали корреспонденты крупных газет. Щелкают фотоаппараты, стрекочут кинокамеры. Мы разошлись и стали выигрывать. Если вес игроков — главное условие для победы, то можно считать, что мы победили в силовой борьбе. Одним словом, вся эта затея кончилась шутками и смехом.

Мак спозаранку уезжал в Нью-Йорк, девушки и Томи уходили на учебу. В девятом часу Джулия звала нас завтракать. Утренняя трапеза слишком изящна и легковесна для нас; ох, сказывается домашняя привычка. Греночки и чашечка кофе для нас, что для слона дробинка. Но мы полчаса смакуем этот завтрак — ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Что поделаешь, если обед, завтрак, ужин сведены к вводу нужного количества жиров, углеводов, витаминов. Особенно у прекрасного пола. У каждой особая карточка. Ее компас, ее контроль. Зная до миллиметра все три своих измерения, американка не позволит ничего лишнего. Пополнить — это же непоправимое горе. Рационализм, точнейший расчет вторгся и на обеденный стол. Все-таки скучновато не есть с аппетитом, а вводить белки и углеводы. Но мы мужественно переносим причуды чужого быта, тем более что идет это не от жадности американцев. Что поделаешь: привычка — вторая натура.

После завтрака садимся с хозяйкой в автомобиль и едем за покупками. Джулия берет со стола чек, который каждое утро ей оставляет муж, заводит старенький «шевроле», и мы катим в магазины. По пути заезжаем в банк. Автоматику эксплуатируют на полную катушку. Чтобы получить деньги, не нужно выходить из машины. Заполненный чек опускается в турникет, и через пять минут нужная сумма у клиента.

Джулия придирчиво выбирает товары в магазине, а я качу за ней тележку, куда она бросает свертки. Но до этого она успела шепнуть продавцу, что приехала вместе с советским коммунистом. Появляется хозяин магазина. На нас он тоже делает рекламу. По невидимой цепочке все узнают — здесь гости из чужой страны. Покупатель даже ради любопытства идет в этот магазин. Хозяин делает красивый жест — Джулии пятна-

ддать процентов скидки. Она совсем не против. И потому всегда берет нас с Юрой в магазин. А потом «колдует» на кухне.

ТРУБАДУРЫ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Часто спрашивают: как же сильный и в основной массе добрый народ — американцы — оказывается столь дезинформированным и наивно полагает, что все мечты советских людей сводятся к войне? Нелегко и непросто понять этот парадокс. Уж больно много ядовитых стрел выпускает платная пропаганда в доверчивые души американского народа. Никакими показателями не измерить тот водопад гигантской лжи, который обрушивается на простого человека. Вещают, печатают, рассказывают, показывают. Платные отправители стали хитрее, изворотливее. Сейчас и самого наивного не купишь байками о коллективных женах и общеколхозных одеялах.

Дышит на ладан белоэмигрантское издательство некоего Завалишина. Оно переиздало книгу битого атамана Краснова. Претенциозно ее название «Единая, неделимая». Политический мертвец завещал издать ее по старой орфографии. Нафталинового монархиста приводили в ярость даже знаки препинания, пришедшие в русский язык после Октября. Атаманскому бреду издатель предпослал высокопарное посвящение. (Читая эти строки, трудно не улыбнуться.) «Герою воинского долга, доблести, борцу за великую Россию и славу казачью, проникновенному баяну русского величия, венец мученичества принявшему за веру православную, за царя русского, за отечество светозарное, генералу от кавалерии Петру Николаевичу Краснову свой скромный труд по переизданию его творений с благоговением посвящает Сергей Завалишин, издатель».

Не трогаем стилистику. Подзабыл родной язык битый Завалишин. Это чтиво, выброшенное на прилавки, шокировало даже хозяев — столько зоологической ненависти к советскому народу и такая несусветная брехня в этой книжке. Нет, определенно устарел бездарный подвывала. На пропагандистском рынке он топчется неуклюже, будто слон в мелочной лавке.

И ротации выбрасывают теперь другие книги. Поин-

теллигентнее, где есть малая толика объективности, а ложь тонко завуалирована, спрятана между строк, загнана в недомолвки и прозрачные намеки.

Богато иллюстрирована книга «Россия». Не будем придирчивы к названию, хотя вот уже более полувека страна называется Союз Советских Социалистических Республик. Допустим, что авторы не сильны в географии. Наступая на горло собственной песне, они идут и на такие «жертвы» — в состав нашей страны включают и Прибалтийские республики.

Открываешь первые страницы и диву даешься. Великолепные фотографии и довольно объективный рассказ об ученых Новосибирска. Лаборатории Академгородка и прекрасные коттеджи ученых. Автомобили и современные здания, а не повозки и хибарки, которые публиковали десятки лет подряд. В тексте рассказ о головокружительном развитии науки в Сибири, о грандиозном размахе работ. И все это в вежливой, доброжелательной манере.

Переворачиваем страницу. Ну так и есть! Разве утерпит ретивое, для которого все антисоветское слаще любовных серенад. На этом снимке старый, злостный почерк. Раннее утро в Москве... Где-то вдалеке работает поливальная машина. Крупный передний план. На садовой скамейке обреченно дремлет пожилая женщина. Натруженные руки устало сложены на домотканом переднике. Грубые, времен минувшей войны солдатские ботинки, фуфайка тех же нелегких лет, глубокие борозды морщин на старческом лице.

Спящая женщина держит маленький узелок, прямо совсем крохотный. И что же в этом свертке? А вот почитайте комментарий: «Эта пожилая колхозница из-под Рязани приехала в столицу, чтобы продать излишки своей сельхозпродукции (!). Но базар еще не открыт, и она терпеливо ждет утра. Может быть, она удачно реализует свою продукцию и тогда купит мыла, соли, спичек» (!).

Мы помним безмерную ценность дефицитных товаров военных лет: соли, спичек, мыла. Я сам мальчишкой в те грозные годы нес в дом, как величайшее сокровище, два стакана соли, купленных по бешеной, спекулятивной цене. Сейчас я не замечаю ее, как не обращает внимания и рязанская женщина на такой привычный, повседневный продукт.

Уж больно кощунственным показался этот снимок, лживым, клеветническим текст к нему. И, чтобы в полемическом задоре не быть голословным, в одно из воскресений я отправился на Дорогомиловский рынок столицы. Я искал колхозников, приехавших из Рязанской области. Базар ломился от привезенных продуктов. Горы картофеля, огурцы, мясо, морковь, лук, колхозные автомашины, веселые продавцы в белых фартуках. Так где же высмотреть несчастную страдальцу с жалким узелком «излишков сельхозпродукции»?

Мне быстро надоели бесполезные поиски. Я показал фотографию двум женщинам из Кадомского района. Они сначала нахмурились — вспомнились тяготы военных лет. Пришлось доказывать женщинам, что эта американская книга рассказывает о сегодняшнем дне их землячки. Женщины даже не возмутились: они долго смеялись, задорно и покровительственно. Как смеются над людьми, делающими глупости. Потом утихли и уже серьезно рассматривали фото. Черноглазая высмеялась первой и зло заметила:

— Ну и мастаки врать. Да во всей деревне не найти такой sprawy. Разве что у бабки Аксиньи передник такой есть. Да и то с замужества в сундуке бережет. А ей, почитай, семьдесят пять.

...А вот новая страница. Цветная фотография балерины... В стремительном танце Уланова. Не текст, а гимн советскому балету. Тут уж объективный рассказ о всей его истории, начиная с Анны Павловой и кончая сестрами Рябинкиными. Вся палитра превосходной степени, все эпитеты восхищения, все восторженно, взалелб.

Американцы человека-рекламу окрестили «сэндвичем». Что-то похожее сотворено и в этой книжонке. Почитал про балет, убедился в нашей объективности, изволь теперь проглотить и другое.

Фотография старого узбека на фоне развалившейся мечети. Замасленный стеганый халат и мохнатая шапка. Он исступленно молится аллаху. Вроде и ничего в этом удивительного. Разве нет у нас в стране старых людей, которые так и не выбрались из сумерек религии?

Авторы пишут под снимком: «Как и этот старик, узбекский народ молится долгими днями своему богу». Или это злостное заблуждение? Навряд ли. Опять тот

же расчет: после славословий в адрес советского балета можно и перца подсыпать, куснуть побольнее. Могут не поверить? Да, но могут и поверить, после балета за какую-то правдишку сойдет.

Поздней ночью неугомонный двенадцатиканальный телевизор выбрасывает очередную антисоветскую подделку с философско-раздумчивым названием: «Что такое коммунизм?» Нет, здесь не выступают добросовестные социологи и нет намека на научную достоверность. Нечестные портные от кинематографа слатали на живую нитку подобие документальной картины. Оплаченные ножницы нарезали кадры из разных эпох и десятилетий, приправили их ядовитым дикторским текстом — и готово «коммунистическое пугало». Здесь все средства хороши. Кутежи подгулявших нэпманов запросто выдаются за времяпрепровождение советских работников, разруха и голод гражданской войны — за быт ударных пятилеток. Главное, накрутить, да пострашнее, и кто там разберется, что к чему?

И даже о великой победе в Отечественной войне рассказывается с приправочкой, ядовитой и тенденциозной. Основной акцент на трудности первых дней войны, на горечь отступлений, на большие жертвы горького сорок первого. Но ведь не показать разгром немцев тоже нельзя. И тогда на первый план старая побасенка: суровая зима, необъятные русские снега, застрявшая фашистская техника.

И снова головокружительное сальто во времени. Первые дни революции. Ужасы «красного террора». О «белом терроре» ни слова. Будто и не было покушения на Ильича, убийства Урицкого, заговора Локкарта, супершпиона Рейли, выжженных звезд на красноармейских спинах. А диктор нахален и назойлив: дескать, только документальные кадры. Тогда покажите интервентов из четырнадцати стран, зверства и заговоры контрреволюции. А таких кадров, конечно, не выстригают из кинематографической ленты истории. Пересказывать двухчасовой фильм дальше нет смысла. Все примерно с такой же «добросовестностью». С назойливым афишированием своей объективности.

Роджерский университет один из старейших в Штатах. Он существовал еще во времена английского

господства. Старинный парк и постройки времен викторианской эпохи теперь мирно уживаются с ультрасовременными кубами новых сооружений. Двадцать пять тысяч студентов обучаются здесь разным специальностям. Мы посмотрели многие факультеты, тепло поговорили со студентами.

Но с особым интересом шли в небольшой коттедж, который называют здесь «русский домик». Под строгим оком наставниц четырнадцать девушек совершенствуются в русском языке. Нам так и не удалось определить их будущее амплуа, но ясно одно — девчата специализируются по России. Им и карты в руки, ибо все они русского происхождения.

И воспитатели у них от русского корня. Средних лет женщина, Людмила Константиновна Туркевич — невестка недавно умершего митрополита православной церкви в Америке; совсем моложавая, с хорошим русским языком Татьяна Ивановна Коваленко — из перемещенных последней войны. Обе они предупредительны и словоохотливы. С умилением рассказывают о воспитанницах. Что вот уже пять лет существует «домик». Девочкам можно говорить только по-русски, и за каждое английское слово штраф. И едят за русским столом, и сплетничают только по-русски.

Получив такую интимную информацию, мы идем знакомиться с воспитанницами. Поначалу и впрямь удивительно, будто попал в общежитие Полтавского педагогического института. Тяжеленная коса и большие глаза. Девушка певуче произносит — Ксения. А потом замелькали имена: Лариса, Мария, Зоя. Это уже не сами перемещенные, а их дети. Дышавшие не нашим воздухом, читавшие не наши книжки. Вон и непривычные для глаза рушники с елейным «Рождеством Христовым». Девчата перехватили наши взгляды, потупились. Им неловко, все-таки в гостях атеисты. Но это обстоятельство разговору не помеха. Хозяева быстро создают неприужденность. В тесноватой гостиной они дают нам импровизированный концерт. У каждой в руках песенник. Репертуарчик ставит нас в тупик. Стыдно не помнить все романсы прошлых веков, но что поделаешь? Зато наши современные песни совсем не знакомы девушкам. Сегодняшние мелодии, волнующие слова не находят отзвука в девичьих сердцах. Их этому не учат. А тогда чему же?

Вот это и хотелось узнать. Правильно говорят: послушай, что человек спрашивает, и ты поймешь, что он знает. После музыкальной паузы и «русского ужина» начались разговоры. Удивительные для нас вопросы. Девичьи головки, забитые чуждыми идеями, ждут ответа. Тем более что преподавательницы занялись каким-то другим делом.

Я смотрю на синеглазую крутобровую Ларису. И курносая, и статная, и волос густой — словом, ни дать ни взять дивчина из-под Курска или Орла. Все это так. Но на внешности ненашенский колер, какой-то чуждый налет. Чужбина наложила отпечаток. Если бы только на внешность...

Она смотрит испытующе и настороженно, вопросы задает дерзко. Во всем ее облике вызов. Вопросы бросает торопливо, злые, нелепые. Мы терпеливо разъясняем, не надеясь на мгновенное прозрение собеседницы.

Лариса не в ладах с проблемами серьезными, экономическими, политическими. Она нажимает на более понятные, житейские. И ведет разговор в сторону быта, личности, коллектива.

Пытливо смотрит в глаза, неожиданно краснеет и задает вопрос, от которого можно упасть со стула: «Правда ли, что у вас запрещены любовные песни?»

Надо отвечать. Я еще раз смотрю на девушку — не шутит ли? Нет, на лице ожидание и этакое ехидство — мол, каково, а?

— Правда. Когда я ухаживал за своей будущей женой, то пел ей только спортивные марши.

Подружки Ларисы прыскают. Лариса, видимо, понимает нелепость заданного вопроса, но не отступает, а вновь бросается вперед:

— Верно ли, что молодоженов в загс сопровождает два милиционера?

— Не два, Лариса. Только один — не хватает милиции. Уж больно много свадеб стало.

Она не сразу понимает, что это ирония. Потом конфузится, нервно поправляет прическу и бросает последний «kozyрь».

— Вот вы вернетесь домой и вас заставят говорить об Америке только плохое?

Это уже позлее, это уже из более подлых источни-

ков. Насторожились девушки, ждут. Посерьезнели и наши ребята — в этом вопросе густо замешана клевета. Начинаем рассказывать. О чем думаем писать, что понравилось и что нет. Девчата удивлены, когда мы говорим о хороших сторонах в жизни американского народа. У Ларисы совсем растерянный вид — ведь она думала, что этим вопросом загонит советских парней в «угол».

Наставница юных слушательниц, видимо, знала, когда вмешаться в разговор: запахло «красной пропагандой». Дыхание сегодняшнего дня не входит в их апробированные программы. И с наигранным безразличием она прерывает вспыхнувшую дискуссию:

— Девочки, вы совсем замучили гостей, а их надо развлекать. Лучше еще спойте. Родные песни для них лучше вашей болтовни.

И опять забренчали клавиши, нестройный хор бывших русских запел песню, давно отшумевшую в прокуренных залах московского «Яра» — «Очи черные».

Сколько ее, голубушку, носит по свету, на каких только широтах не звучит она! Мне доводилось ее слышать и на далеких индонезийских островах, и в туманной Англии, и вот теперь здесь, в «русском домике». В домике с американской оснасткой.

Мы уезжали поздним вечером. Девушки провожали нас до автобуса. Лариса шла задумчивая. Говорила несвязно, растерянно. И оттого чужой акцент особенно резал слух.

БЕЗ ОТЧЕГО ДОМА...

Трамвайчик, по-видимому, был ровесником нашего века. Он жалобно скрипел, но катился довольно шустро. На остановках осаживал, словно резвый конь перед препятствием, одна колея заставляла терпеливо дожидаться встречного вагона.

После шикарных тоннелей под Гудзоном, ровных, как теннисный стол, автострад, после автоматики, шагнувшей на кухню, и вычислительных машин, ориентирующих политических деятелей, этот нью-орлеанский трамвайчик казался хитрым старичком, обманувшим время, тайком проскочившим в чуждую ему эпоху.

Было что-то символическое в этой поездке на потрепанном времени трамвайчике. Мы ехали в университет, чтобы встретиться с бывшими русскими, обучающими теперь американских студентов.

Хозяева сконфужены: в небольшом холле не работает «кондишен», а на дворе за тридцать. Близкий океан навевает влажную, изнурительную жару. Мыжимаем руки лысым и вихрастым, полным и худощавым и в чехарде торопливого знакомства не сразу запоминаем имена и фамилии.

Разговор осторожный, протокольно-сдержанный. Хорошенькие девушки, осилившие по сотне русских слов, разносят кофе-гляссе. Безбожно коверкая грамматику, пытаются говорить с нами — все-таки практика. Ревниво интересуются: ну как их страна, какое впечатление производит Юг Соединенных Штатов? Беседа становится живее, острее.

Пожилой полковник, близкий друг руководителей учебного заведения, так представился он нам, вспоминает о Москве, где когда-то работал, называет театры, рестораны, в которых часто бывал. Отставной дипломат корректен, политических тем избегает.

Мой сосед, который при знакомстве назвался Наливайко, нервно постукивает лакированным ботинком — ему хочется побыстрее пришпорить разговор, заострить его, впрыснуть в доброжелательный диалог неприязнь, отчужденность.

Подкараулив паузу, перебивает полковника и встречается в беседу. Задиристым, взъерошенным петушком насакивает на нас, пересыпает разговор нафталиновой антисоветчиной и все заглядывает в наши лица — ну как, проняло? Наши спокойные улыбки бесят его, добавляют красноречия и азарта. Студентки «едят профессора» глазами. Он несет такую околесицу, что как-то оскорбительно и отвечать. Но говорить надо, чего доброго, промолчишь — подумают, что и впрямь нам нечего сказать. Пожалуй, самое время осадить его. Он во всю распинается о национальной политике, этот поборник «самостийной Украины», тоскующий по жупану и трезубцу. Олег Сытник, наш коллега, редактор молодежной газеты из Киева, подсаживается к распалившемуся Наливайко и лукаво спрашивает:

— Чи кончив, чи нет?

Наливайко обрадованно переходит на украинский и с возросшей горячностью заканчивает монолог. Боже, чего только не наговорил этот «самостийник», о чем только не скорбел и не сокрушался! Болтал, что украинцы «задавлены и забиты», что народ великого Кобзаря и Леси Украинки теряет культуру, самобытность, забывает родной язык.

Олег Сытник удивляет нас снисходительной выдержкой — он не горячится, не повышает голоса. Слова у него емкие, убедительные, и особую доказательность дают цифры и факты. Он рассказывает о своей процветающей, равноправной республике, которая по мощности и образованности оставила далеко позади себя многие европейские страны. Я слушаю страстную речь своего украинского друга, и видятся мне златоглавый каштановый Киев, слышатся величальные песни на вольных степных просторах, видятся бесчисленные заводские трубы и бескрайние разливы украинских пшеничных полей. Слова Олега приобретают свой изначальный смысл здесь, вдали от Родины, наполняют тебя сыновней гордостью за великую землю, за большую, многонациональную семью Страны Советов.

«Самостийнику» не по нутру рассказ Олега. Наливайко крутит головой, смотрит то на полковника, то на студенток — ищет поддержки и сочувствия. Кто-то из них должен прийти ему на помощь! Но что-то нет охотников выручать Наливайко. Он сконфуженно разводит руками и зло бросает:

— Красная пропаганда!

И снова дребезжащий трамвайчик везет нас в сегодняшний день, в современный отель «Святой Чарльз», где мерно гудит в номере вентилятор и ревет двенадцатиканальный телевизор. Какой-то неприятный осадок на душе от путешествия к бывшим. Все молчат. Наверное, каждый из нас думает о своем. Вспоминает о встречах с людьми без корня, которых, словно перекаати-поле, носят по свету политические ветры нашего века.

Разные обстоятельства отрывали их от родной земли. Одни, озлобленные, потерявшие привилегии, иступленно боролись против новой жизни и навечно обрели себя скитаться на чужбине, других завихрила, запутала судьба, третьи, предав родину, приговорили себя к изгнанию.

Я видел всяких эмигрантов. Состарившихся на чужих харчах, побитых революцией «золотопогонников» и желчных кадетов, которые что-то еще гнусавят об отечестве, прекраснородушных шаркунов бывших петербургских гостиных, запродавших и свои воззрения, и свою честь, омерзительных предателей, поднявших руку на отчий дом, запутавшихся, заблудившихся, перемещенных, аполитичных, любящих только деньги прощелыг, у коих за душой ни отечества, ни доктрин, ни принципов. Двадцатый век, его социально очищающая гроза, прогремевшая над планетой, по-всякому раскроили человеческие судьбы. Одних время отрезвило, других озлобило. Многие подзабыли Родину, другим она снится часто, и к старости воспоминания становятся мучительными.

...Мы сидели прилежно, как отличники на первых партах. Еще бы: советских журналистов пригласили послушать лекцию по русской литературе в Вашингтонском университете. Урок вел бывший русский, и американские студентки аккуратно и старательно записывали его лекцию. Слушательницы давно практикуются в языке, и беседа велась на русском. Дмитрий Дмитриевич, весь гладенький, ладный, как и его плавная речь, рассказывал о поэзии Гумилева. Грустинка в голосе, молитвенно сложенные руки — это о Гумилеве советских лет. Музыкальность в голосе, чтение четверостиший нараспев — это о Гумилеве раннем. Смотрит в нашу сторону и сетует на «бессердечие» военного коммунизма, рассказывает о «деле Таганцева». Скорбный рассказ о судьбе поэта исторгает сочувственные вздохи у сентиментальных слушательниц. И опять взгляд в нашу сторону: а какова реакция? Но мы не можем подавать голос: был уговор — дискуссий не открывать, свою точку зрения не высказывать, одним словом, в чужой монастырь... Морщимся, внутренне протестуем, но условия нужно соблюдать.

Профессор делает неожиданный словесный реверанс в нашу сторону. Он вдруг изрекает, что время отфильтрует субъективное, скоропалительное. Поостынут страсти, отстоятся суждения о поэте, и он займет подобающее место в советском литературоведении. Пересмотрят к нему отношение, как и ко многому из далеких революционных лет. К февральской революции, например...

Громко хлопают крышки столов, студенты гурьбой устремляются к двери. Дмитрий Дмитриевич бережно собирает конспекты. Подсаживается к нашему столу, он готов продолжить беседу.

Дмитрию Дмитриевичу часто снится родина. Он грезит милыми пейзажами полузабытой отчизны, тщательно собирает русские книжки, коллекционирует пластинки, выписывает некоторые журналы. Профессор — верный рыцарь февраля 1917 года, он тоже митинговал тогда, но он не хотел идти дальше февраля и его душа до сих пор не смирилась: ну зачем этим рабочим и солдатам потребовался Октябрь? Надо было остановиться на феврале и все чинно устроить. Сильное правительство, благопристойный парламент, благотворительность повсюду. И не торопясь созреть до западных демократий. Дмитрий Дмитриевич в тот год пекся о судьбах любимой родины. Она и до сих пор является ему в образах хрустящих кожанок комиссаров Временного, велеречивости адвоката Керенского, твердости князя Львова.

Дмитрий Дмитриевич окидывает нас растроганным взглядом и примирительно вздыхает:

— Как видите, различий-то особых между нами нет. Я тоже за революцию, но без поспешности. А большевики решили обогнать, пришпорить время и о правопорядке забыли. Русские и сильны, и сообразительны и если бы даже остановились на феврале, все равно возглавили бы теперь первые ряды цивилизованного человечества.

И, повернувшись ко мне, в упор спросил:

— Разве иначе бы сложилась ваша судьба, не будь Октября?

— В этом нет никаких сомнений.

— Считаете, что Октябрь открыл вам дорогу?

— Почему только мне? Великий Октябрь изменил жизнь всех.

Профессор настойчив:

— Увольте от передовых статей. Хочу знать конкретно о вас?

Я задумываюсь, медлю с ответом. Право, а что же все-таки рассказать? Мне кажется, что иначе моя жизнь и не могла сложиться. Судьба, похожая на биографии моих сверстников. Хотя... И на минуту представляю:

а если бы и впрямь не прошумел Октябрь над моей страной...

Услужливая память воскрешает мельчайшие детали одной запомнившейся встречи, которая случилась у меня однажды в Брюсселе. Пожалуй, о ней я и расскажу состарившемуся на далекой чужбине поклоннику Керенского.

Прибранная черепичная Бельгия встретила нас ненастьем. Состарившийся от непогоды Брюссель, обшарпанные временем дома, косой дождь, стертая брусчатка мостовых, пустые громады павильонов Всемирной выставки — все создавало какое-то минорное настроение.

Мы ходили по пустым залам музея Конго. Пожилая экскурсовод читала свой устаревший монолог на фоне освобождающейся, встающей во весь рост Африки. Экскурсия казалась походом во вчерашний день. Потом в одном из кабачков, куда мы зашли выпить кофе, экскурсовод стала общительнее. Екатерина Николаевна оказалась старожилом бельгийской столицы, как-никак они с мужем прожили в Брюсселе уже тридцать лет. А что было до этого? Она откидывает со лба поседевшую прядь и тихо рассказывает нам о долгих и нелегких скитаниях. Да, горький жребий выпал на долю тех, кто бежал от новой жизни, страхась и не приемля ее. Досыта хлебнули они лиха на всех европейских задворках. Время и деньги расслоили эмигрантов. Пустой кошелек Бакуниных обрек их на суровые испытания; ни знаменитая фамилия, ни громкий титул не спасали от нужды.

Я уже едва следил за тем, что рассказывала Екатерина Николаевна. Дело в том, что мои предки были крепостными Бакуниных, а мать до революции работала поденщицей на барском поле. Всю жизнь мне хотелось увидеть кого-нибудь из фамилии Бакуниных. Я учился в школе, которую открывали сто лет назад помещики Бакунины, ранее принадлежавшие к родовитой семье. Ребятишками мы облазали все уголки запущенного старинного парка, изучали приделы красивой каменной церкви, обследовали все комнаты помещичьего дома. Усадьба казалась загадочной и легендарной. Мальчишескому уму льстило, что в Премухино наезжало много знаменитых людей. Мы часто собирались у дуба, посаженного именитыми людьми, знали любимые аллеи Вис-

сариона Белинского, заветные поляны философа Станкевича. Старики рассказывали нам много любопытного, и это еще больше распалало мальчишеское воображение. И меня сызмальства терзал вопрос: хороший или плохой Михаил Бакунин? В те далекие годы так хотелось получить однозначный, четкий ответ.

И только взрослым я понял, что не все так просто раскладывается на черное и белое. Фигура знаменитого революционера предстала во всей противоречивости, жизнь самоотверженного человека была удивительно путаной, где искренние порывы перемежались с вредными воззрениями, а подвижничество и аскетизм оборачивались уходом со столбовой революционной дороги.

И ореол героической жизни знаменитого предка не смог скрасить помещичьей обыденности его потомков. К Октябрьским дням заурядные помещики Бакунины хозяйствовали в заурядной своей вотчине. Старики вспоминали, что в дни февральской революции последняя барыня прикрепляла красный бант и тоже кричала: «Долой самодержавие!» Но это было тогда модным кличем, и в ее словах не было непоколебимой убежденности легендарного предка.

Я глядел на уставшую Екатерину Николаевну, слушал ее тихий голос и не переставал удивляться: все-таки мир тесен. Бакунина тоже растерялась, узнав во мне земляка. Вопросы, вопросы, вопросы... И неожиданное предложение: не хочу ли я увидеть ее мужа, Алексея Михайловича. Он прямой потомок дворянской династии.

Квартирка небольшая, но уютная. Скромная обстановка лучше визитной карточки говорит о финансовых возможностях хозяев — все сдержанно, скромно. Екатерина Николаевна достает семейный альбом. Я листаю страницы и погружаюсь в свое далекое детство. Родные, знакомые места. Вековые деревья, склонившиеся над тихими омутами спокойной Осуги, холмы и кособоры, убегающие к горизонту, фасад помещичьего дома и привычные очертания родовой церкви Бакуниных. Но глаз корректирует увиденное. Вот здесь высится новое здание больницы, на этом месте стоит детский сад, а вот тут, в излучине Осуги, речку перешагнули мачты высоковольтной линии.

Хозяйка испытующе смотрит на меня. Я спиной чув-

ствую, что ей хочется спросить меня о главном. И она решается на этот вопрос: помнят ли их?

Право, ответить нелегко. В деревне почти и не осталось стариков, кто видел последнего барина. Вспоминают того, Бакунина Михаила, а его наследники как-то забылись. Хотя и злости к ним не было: как-никак либеральная семья и казаков с нагайками не вызывали.

Хозяин вваливается в прихожую усталый, озябший. Стаскивает комбинезон и долго плещется под краном. Мазут и металлическая стружка въедаются глубоко — Алексей Михайлович работает механиком в частном гараже.

Знакомимся. Радость хозяина неподдельна, волнение какое-то суетливое, беспомощное. Он торопится рассказать о себе, будто боится, что я уйду, не дослушав. Скорее, рассказывает он вовсе не мне, а той земле, с которой когда-то ушел и куда уже ему никогда не вернуться.

Я смотрю на «моего барина» и на минуту представляю: а если бы и впрямь не прошумел Октябрь над моей страной...

...Роскошная, на английский манер прибранная усадьба. Разодетый барин на парадном крыльце. Престольный праздник — петров день — разливаются по деревне. Мужики вытащили пронафталиненные тройки из кованых сундуков, напомадили волосы, начистили штиблеты и пришли поздравить заступника и отца. В благоговейных поклонах застыла депутация, куда отобрали мужиков пограмотнее, посообразительнее. А барин сегодня добродушен и щедр. Он бросает красненькую, чтобы смирные и послушные пошли в «казенку». И в этой толпе я...

Вот и ответ Дмитрию Дмитриевичу, нашему вашингтонскому оппоненту. Что дал нам Октябрь? Мы изгнали капиталистов и помещиков и построили новое общество, мы, свободные граждане великой страны, сами создаем прекрасную жизнь.

Пока фантазия водила меня по ирреальному миру, в гости к Бакуниным пришел другой русский — Степан Иванович Кольцов. Еще крепкий, широкий в кости, он твердо уселся в кресло. Басовито откашлялся, при-

слушался к беседе и напористо завладел разговором. Он удачливее Бакунина, у него свое дело. Миллионами, конечно, не считает, но и с пустым кошельком не ходит. Как попал сюда? Да обычной тропой эмигрантов — Новороссийск, Стамбул, Югославия, а потом Бельгия. Что согревает в старости? На минуту задумывается, а потом загибает пальцы. Деньги не в счет, чужбина горька, как полынь. Дети? Глубокие морщины совсем состарили лицо. Степан Иванович посмотрел на своих дочерей, которые рассматривали семейный альбом Бакуниных и пытались говорить по-русски.

— Да уж какие мы люди! Так, перекаати-поле. Стержня у нас нет, как и у этих. Тьфу, не француженки и не русские, а так, черт знает что. Если что и греет старость, так это воспоминания. Ставшие уже смутными и очень далекими. Иногда до мельчайших деталей, до каждой травинки вижу стрелку, могучую Волгу, чистую Оку и золото церквей Нижнего. А порой все расплывчато, общо.

Бакунин согласно кивает головой и просит меня рассказать, как живет Премухино сегодня. Лет тридцать назад слово «колхоз» пугало, словно выстрел. А сейчас мои собеседники слушают внимательно, стараясь вникнуть в смысл чужой жизни, ключом бьющей на их прежних землях.

Я говорю привычные слова, которые дома примелькались, стали обычными, а для двух людей, потерявших Родину и поседевших на чужбине, они откровенный и окончательный приговор в классовом споре. Бакунин деликатно перебивает меня и заинтересованно осведомляется:

— Что случилось с домашней библиотекой, если не секрет?

О судьбе книг Бакуниных я знаю мало. Рассказывали, что самые ценные собрания растащили, и особенно постарались комиссары Временного правительства, а все, что удалось сохранить, Советская власть передала в книгохранилища Москвы и Ленинграда. Какие-то книги остались и в библиотеке средней школы.

Хозяева тепло и трогательно прощаются. Они провозжат меня на улицу, хлопчут о такси. Откровенная грусть и зависть в глазах. Ведь через неделю я увижу отчие края, пройду по ковру трав, поздороваюсь с лесными дубравами, напьюсь у хрустального родника,

послушаю радостную песню птиц. И, наверное, расскажу старикам колхозникам о встрече в Брюсселе. А те будут цокать языками, напрягать стариковскую память, переспрашивая друг у друга: «Это который, чей же это сын?» А мужики помоложе сочтут, что рассказываю я им занятные сказки, и будут посмеиваться по-деревенски сдержанно.

И, глядя на их удивленные лица, еще раз радостно осознаю, что никогда не вернется в отчий край тот престольный праздник, что увиделся мне в брюссельской квартире Бакуниных. Потому что наши отцы свершили Великий Октябрь.

На прощанье я желаю брюссельским старожилам хороших сновидений. Пусть родные края хоть изредка видятся во сне, принося маленькую и запоздалую радость за пожизненную пытку — не видеть землю, вскормившую тебя.

Встреча с Отчиной! О ней мечтаешь в далекой дали, чувство тоски и памяти идет за тобой по всем широтам. Чем больше едешь по свету, тем сильнее спешишь домой. И всегда счастлив, что временный ты в чужих краях, и считаешь дни до скорого свидания с Родиной.

Страшна жизнь без родной земли, несчастны люди, не имеющие Отчины, пусто человеку без отчего дома. И горько расплачивается человек за ошибки юности, получая самый тяжелый жребий — отлучение от родной земли. Без корня беззаботно живет только перекачено поле.

Реактивный прыжок из Нового в Старый Свет затягивается на девять часов. Время, достаточное для первых дум и размышлений. Уже над океаном разноцветный калейдоскоп впечатлений от большой и сложной страны начинает выстраиваться в какие-то выводы и размышления.

Многолика и противоречива сегодня эта страна. Могучий военно-промышленный комплекс, диктующий ориентиры внешней политики правительству. Разрозненные, но искренние выступления студентов и молодежи против войны в Индокитае, которую развязал американский империализм. Мучительное осознание трезвыми политиками того факта, что роль мирового

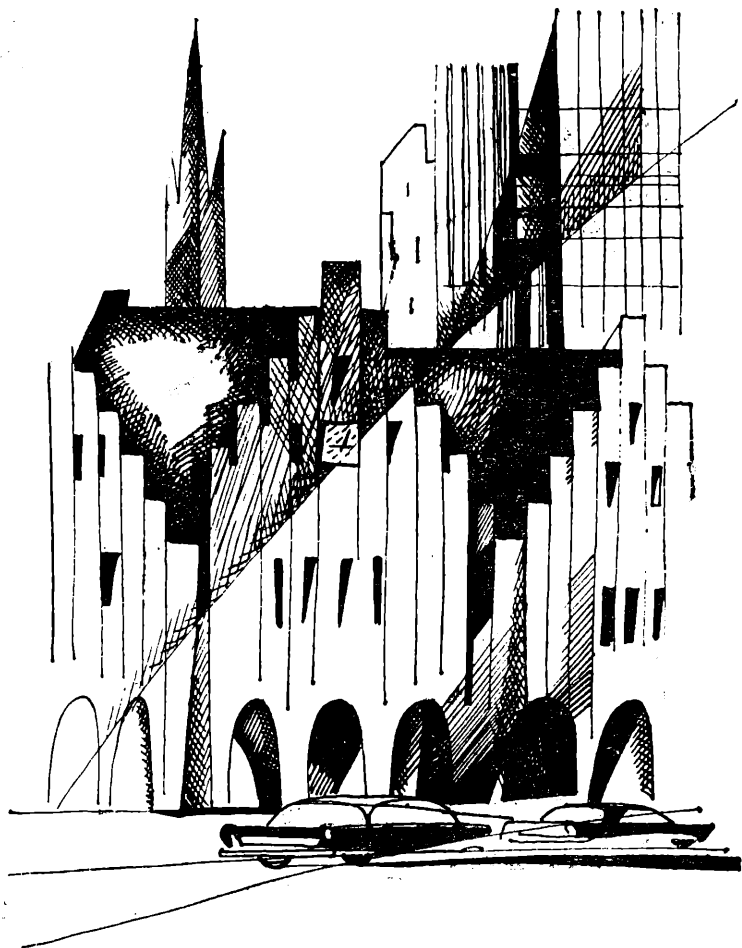
жандарма Соединенным Штатам Америки не под силу, да и не по карману, что для глобальной агрессивной стратегии недостает идеи и мощи.

Удивительно гостеприимны простые американцы, которым непонятны некоторые поступки и действия их руководителей на международной арене, трудовой народ, просыпающийся от политической летаргии.

Думается, что начинается глубинный, пока малозаметный процесс переоценки ценностей, осознание необратимых реальностей мира, кажется, что рядовой американец начал прозревать, понимая, что история не поручала его стране командовать всем миром и навязывать ему свои идеалы.

Самое время для прозрения...

1965 год



ТРУДНЫЕ ШАГИ К ИСТИНЕ

Когда Конрад Аденауэр столицей Федеративной Республики Германии нарек провинциальный городок Бонн, удивленный бюргер счел это решение причудой стареющего канцлера. Заштатный Бонн на Рейне мало подходил для стольного города. На столицу по праву претендовали индустриальные гиганты, с которыми связывались воспоминания о мощи рухнувшего рейха и надежды на политическое и экономическое обновление.

Но амбиции канцлера было мудро раскусить. Тихой деревенькой на Рейне Конрад Аденауэр подчеркивал временный характер новой столицы, он предусмотрительно упрягивал административное сердце страны подальше от крупных городов с их грозовой атмосферой классовой борьбы и острыми социальными конфликтами. По-видимому, у канцлера был и еще один расчет: унылым городком на Рейне мозолить глаза и укоризненно напоминать о недолговечности столицы, о неустойчивости послевоенной Европы, о сокровенной своей мечте — возвращении в Берлин, столицу воссоединенной нации, которая, несомненно, вернет утраченные восточные земли.

Этот прожженный политикан многое сделал, чтобы из поэтически воспетой Гейне долины Рейна долгие годы дули леденящие ветры «холодной войны». Агрессивные доктрины усопшего канцлера завели его партию в политический тупик. Потеряв доверие избирателей, христианские демократы утратили руководящий портфель.

Двадцать лет сидели социал-демократы на скамьях оппозиции. И долго бы не видать им Шаумбургского дворца, не осознай самые трезвые из них, что единая упряжка с христианскими демократами затащит партию в политическое забвение. Рулевые социал-демократии мучительно расставались с несбыточными иллюзиями. Они убедили бюргера, что трезво оценят реальность мира, и, получив мандат избирателей, въехали в правительственные особняки. Бывший в ту пору канцлером Вилли Бранд искал разумную политику не только на широтах Вашингтона и Лондона. Восточные договоры вдохнули свежую струю реализма в затхлую атмосферу высокомерных притязаний.

В Федеративной Республике Германии идет нелегкая переоценка ценностей. Трудно глядеть исторической правде в глаза, отказываться от бредовых идей реванша. По аранжировке покойного Аденауэра поют христианские демократы, сыплет угрозы баварец Штраус, источают яд ненависти издания Акселя Шпрингера, обновляют человеконенавистнические трактаты неофашисты.

Но все ощутимее и заметнее в общественной жизни новые веяния. С каждым днем меняется внешний облик Бонна. Столица растет и вширь и ввысь, окончательно расставаясь с временным статусом. Нынешний состав

бундестага и молоде, и радикальнее прежних парламентов, в нем сократилось число предпринимателей и прибавилось сторонников реформ. Молодые социал-демократы требуют у своих партийных наставников более решительного выполнения предвыборных обещаний и более конструктивных внешнеполитических акций. Растет политическое самосознание всей молодежи. В большинстве своем она отвергает идеи реванша и территориальных притязаний.

Первые шаги всегда трудные. И борьба общественного мнения за новый облик своей страны выливается в разные формы. Молодые немцы все заинтересованнее и активнее начинают писать новые строки в послевоенной истории Федеративной Республики Германии.

НЕЛЕГКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Слет молодых антифашистов большая пресса постаралась замолчать. Газеты земли Гессен тонули в бытовой сенсации, удивляли осведомленностью, но упрямо игнорировали международную встречу. Правда, в канун открытия молодежного центра одна газета поместила развязный фельетон в адрес настоятеля монастыря, на территории которого был разбит лагерь. Десятки ядовитых стрел слетели с ее страниц в святого отца. Газета бранила его за отступничество, за отсутствие истинного патриотизма, за святотатство, наконец. Как мог духовный пастырь пустить в монастырь молодых безбожников, крикливых ниспровергателей, почти красных, которые по наущению русских хулят освященные богом догматы и разыскивают какие-то ростки неонацизма в респектабельной Западной Германии?

Тихий, провинциальный городок не привык к языковой разногласице, он рано засыпал, любил пиво, тишину. Какое ему дело до тревожных миров, который лежит где-то далеко, на неведомых широтах, живет непохожей жизнью, по-своему радуется и по-своему горюет. Было любопытство, не больше. Интересно все-таки услышать, как спозаранку оглашается монастырский двор смехом и песнями. Взглянуть краешком глаза на приехавших сюда из разных стран. И только. А вступать в разговоры, над чем-то задумываться — нет, от такого увольте. Вот только нет сладу с сыновьями и до-

черьми. Тянутся они к зарубежным сверстникам, собираются кучками у монастырских стен, а самые решительные уже и знакомства заводят.

Устроители антифашистского лагеря не питали иллюзий: знали, что нечего ждать распахнутого гостеприимства, сердечной доброжелательности, горячих объятий. В маленьком городишке «холодная война» не была абстрактным понятием, ее наследие оборачивалось настороженностью и неприязнью. И потому программа молодежного центра не форсировала дружбу. Ведь симпатии не возникнут враз, инфантильный обыватель должен сам убедиться, что помыслы юных гостей городка под Франкфуртом-на-Майне чисты.

Уже давно городские власти строили общественный детский сад. Не ахти какой великий объект, но почему-то дело подвигалось медленно, хотя за это время появился красавец бассейн, а на соседнем холме стремительно росли корпуса химического концерна. То ли руки не доходили, то ли у отцов города была пуста казна — кто знает, а только сиротливо стояла коробка детского учреждения, вызывая предвыборные страсти горожан. Решение совета лагеря было единодушным — всем отработать по два дня на этой затянувшейся стройке. Работа оказалась не из легких. Не все руки до этого знавали лопату, не каждому доводилось толкать тяжелую тачку. А управляться пришлось именно с этими механизмами.

Пожилой немец пристально смотрит, как сноровисто утрамбовывает влажный песок польский парень Анджей. Я ничего не знаю о немце, который так внимательно разглядывает польского юношу. Шел ли он по земле Анджея, какой мундир носил в военное время? О чем думает сейчас, слушая разноязыкую речь, глядя на вспотевшие спины ребят и нежные девичьи руки? Вспоминает свою молодость или задумывается о сегодняшнем дне?

Чугунной стала лопата, свинцом налились руки, и я механически бросаю и бросаю песок. С непривычки ломит спину, кружится голова. Надо держаться. Смахиваю пот с лица, чуть разгибаюсь и заглядываю в кузов — скоро ли конец? Вижу насмешливые глаза Розы. Они с подругой подвигают песок к краю кузова, и, конечно, им тоже нелегко. Но девчата улыбаются, посмеиваются над моей усталостью. Роза что-то задорно кричит мне по-немецки и вновь берется за лопату.

Все-таки удивительная эта девушка, руководитель западногерманской делегации на антифашистском слете. От роду двадцать лет, а за плечами жизнь, не по годам драматичная, — прямо готовая фабула приключенческой книги. Наше знакомство началось с забавного эпизода. Советская группа опоздала на открытие слета. Мы приехали в уже обжитой лагерь, когда многие перезнакомились друг с другом и чувствовали себя непринужденно. Другое дело мы: прямо с самолета — на бал. Так что и смущение, и неловкость — все было при нас.

...Водитель на большой скорости влетел в монастырский двор и осадил машину буквально в метре от оторопевшей девушки. Она мгновенно прогнала невольный испуг и сурово спросила парня:

— Кого привез лихач смертник?

Белозубой улыбкой ответил парень:

— Кого, кого! Не видишь, что ли, русских.

Она посмотрела на нас, рассмеялась:

— Что, пассажиры скорости любят? В отцов, видно, пошли. Те тоже на танках газу не жалели.

Честно, мы немного опешили. И кто-то бросил в ответ:

— К шапочному разбору боялись приехать.

То ли не поняла Роза родной язык из чужих уст, или не захотела продолжать пикировку, а только гостеприимно пригласила нас в кельи. Словесная перепалка была мгновенной, но тогда запала мыслишка в голову: «Ох и язва, язычок что бритва, с такой держи ухо остро».

Вечером совет молодежного лагеря скрупулезно обсуждал программу слета. Приоритет был отдан хозяевам, они устроители, им и слово. Конечно, кое-какие предложения нужно внести, как и что правильнее. Поднялся высокий бородатый парень. Горячо и убежденно стал доказывать, что в наметках плана перекосят: уж больно много политических дискуссий. Нет, пусть не поймут его превратно, просто совсем мало времени на развлечения. А собрались молодые, да и погода отличная, поездок, вечеров надо больше. И менее настойчиво, но все-таки убежденно: многовато докладов о нацистском прошлом. Русские, поляки, итальянцы. И все на одну тему.

Парень смущенно оглядел гостей и поставил извинительную точку:

— Конечно, это в порядке предложения. можно оставить все по-старому. Вам решать.

Все сидящие за столом замолчали. Неловкая пауза повисла в воздухе, и, казалось, некому было ломать тишину. Хозяева вроде растерялись. Директор молодежного центра, человек, переживший ужасы Дахау, старый антифашист, выжидающе поглядывал на молодых соотечественников — он не хотел навязывать свои взгляды.

Поднялась из-за стола Роза. Мальчишеская причёска, пунцовые щеки, решительный вид:

— Давно тебя знаю, Карл, а удивляться не перестаю. Опять кого-то наслушался, чужое за свое выдаешь. Политики много, видишь ли, ему. Ну давай все вечера в дансингах торчать и целыми днями соборы осматривать. Тогда сам Шпрингер полосы будет нам посвящать. Им, — Роза неопределенно махнула рукой за окно, — только этого и надо. О нацизме много, говоришь? А не тебе ли расквасили нос новоявленные головорезы? Ты что, с прошлым дрался на городской площади три дня назад?

Глаза ее вспыхивали гневом. Говорила она резко, быстро, и это совсем не вязалось с ее женственностью. Необычайной была судьба двадцатилетней Розы, причудливы дороги, приведшие ее на слет молодых антифашистов.

..Агония тысячелетнего рейха была жалкой и мерзкой. Нацистские бонзы разыгрывали свой последний фарс. Сжигали партийные билеты, прятали парадные мундиры, выбрасывали в окна роскошных вилл белые флаги-простыни. Возмездие шло неумолимо, и каждый юлил, хитрил, чтобы избежать расплаты, забиться в спасительные щели, оглядеться, приспособиться.

У отца Розы на руках не было крови, и в апрельские дни сорок пятого он держался спокойнее, чем его коллеги. Страхи были, трудно надеяться на полную безнаказанность, но и особо страшиться не стоило. Да, в партии состоял. А кто из предпринимателей осмеливался не идти к нацистам? Зато на фронте не был и в союзников не стрелял. Наезжал во Францию не раз, это верно, но не как офицер вермахта или гестапо — просто строитель получал выгодные заказы от армии. Конечно, строил на совесть, а как же иначе может работать немец? Вот это все он и выложит первому американскому офицеру. Слава богу, что в их городок всту-

пают янки, с русскими был бы разговор другой. Кто-то, а Герман хорошо осведомлен о разном подходе союзников к одним и тем же вопросам.

И все-таки где-то он просчитался, поддался иллюзиям. Первый гость, вошедший с автоматчиками в роскошную виллу Германа, пожилой американский офицер, брезгливо глянул на хозяина и зло процедил: «Живо соберись. Белье... и всякое там для лагеря».

Полковник в штабе оказался обходительнее. Узнав, что Герман из строительного ведомства Тодта, а не офицер вермахта, стал еще приветливее. Но заметил, что задержанному карантин все равно придется пройти, и, усмехнувшись, добавил:

— Умники из разведки всех фильтруют. Да и русские какие-то отчеты об арестованных требуют.

Герман отделался очень легко. Янки продержали его шесть месяцев в довольно сносной тюрьме, чуть потаскали на допросы и очные ставки и вскоре отпустили с миром. Оставался приличный капитал, не порвались полезные связи. Азартно бросился в восстановительный бум урожденный фон Шаттен. Скупал по дешевке акции, помещал капиталы в перспективные фирмы, почти за бесценок приобрел несколько предприятий, брошенных прежними хозяевами. Деньги льнули к деньгам. Приглядел богатую невесту, и приданое весомой добавкой легло на банковский счет. Когда родилась Роза, семья Шаттенов принадлежала к респектабельному и богатому клану послевоенных дельцов Федеративной Республики. Не только на поприще бизнеса ползли вверх акции Германа, с годами и в партии христианских демократов он становился заметной фигурой.

В семье все ладилось, а жизнь одаривала счастьем и удачами. В доме росла дочь такого острого ума, что впору завидовать и политическим деятелям, и такой красоты, что впереди девушку ожидала самая блестящая партия. Герман фон Шаттен редко бывал дома: деловая круговерть бросала его в разные концы света, как всякому удачливому бизнесмену, ему становились обузой границы, капиталы требовали простора, но они же отнимали и все свободное время.

Открытие, однажды сделанное фон Шаттеном, поразило его как гром с безоблачного житейского небосвода, оно было страшнее инфляции, краха фирмы, банкротства. Герман с ужасом обнаружил, что его

любимица Роза, унаследовав фамильный титул, не унаследовала его взглядов. Бог с ним, если бы шло это от лености или от девичьей легкомысленности. Нет, все обстояло хуже — Роза выросла идейным противником. Она отвергала доктрины отца, она защищала взгляды другого лагеря.

Поначалу подумалось — блажь, модное поветрие и вскоре это пройдет. Несколько резких реплик, брошенных в адрес его партии, максимализм в оценках, аргументы красных в устах дочери — все это возрастное фрондерство, политическое оригинальничанье. Но мимолетные пикировки стали постоянными, и, наконец, схватились отец и дочь в злой и долгой беседе.

Герман фон Шаттен начал разговор с дочерью спокойно:

— Согласен, не все в мире совершенно. И у нас далеко не рай. А где, позволь спросить, оно, это государство справедливости? На каких широтах лежит эта страна? И кто из твоих приятелей там бывал? Вот ты все Маркса мне цитируешь. Не спорю, выдающийся экономист, пророк в какой-то степени. Думаешь, твой отец не дискутировал в молодости о добре и зле? Да только скажу тебе — ошибся в предсказаниях Маркс. По другой колее движется мир, — успокаивающе положил руку на плечо дочери. — Но это не его вина. Маркс не всевышний, чтобы на столетие заглянуть вперед. Читай, читай, дочь. О труде и капитале, о нескончаемой классовой борьбе. — И веско добавил: — Только теория это, книжное умствование, если позволишь. Затухает борьба. Вот только разве вы, юнцы, пошумите на улицах да заварушку в университете устройте. Классы сближаются, а бородатый философ, да бог с ним...

Роза не перечила, пока говорил отец. Но нахмуренные брови и упрямо сжатые губы насторожили Германа. Неужели будет всерьез возражать? Да и что может девчонка противопоставить его доброжелательной, но убийственной логике? Какие найдет слова, что будет защищать?

— Вот ты о Марксе все говорил, — уверенный тон дочери поразил фон Шаттена неприязненной убежденностью, и лицо его стало суровым, — и что устарел, и ошибся в предвидении. Если все по-твоему, почему до сих пор боитесь его? Что поделаешь, в точку смотрел великий соотечественник и его учение не дает вам спо-

койно жить. А не удивляет тебя, дорогой отец, что мы читаем Маркса? Все магазины забиты книгами современных социологов, а нет же, тянемся к Марксу, в его работах ответы ищем. Потому, отец, что, программа общества в них, ключ к законам его развития найден. И вашему классу вынесен приговор.

...Девушка ушла из дому, чтобы никогда не возвращаться. Стороной узнавали про Розу. Живет у подруги, работает в какой-то конторе. Бегает по митингам, в молодежные лидеры выбралась. Через хорошего знакомого передал отец кругленькую сумму — отослала обратно. Но надежды Герман не терял, верил в неодолимую притягательность денег, в крепость семейных уз.

Печалился лишь об одном: как бы из модного поветрия взгляды дочери не превратились в твердые убеждения. Розу частенько видели в разношерстном обществе: длинноволосые юнцы, патлатые хиппи, очкастые гитаристы. В шумных этих компаниях дочь не отставала от приятелей: скандировала, пела, протестовала, ввязывалась в уличные потасовки. Весной семидесятого года беспокойно было на улицах — предстояла ратификация договора с Москвой. Молодежь, как казалось фон Шаттену, до этого инфантильная, будто посходила с ума и азартно бросилась в политику. Герман досадовал остро и мучительно. Эти уличные горлопаны предавали дело отцов — они мирились с диктатом победителей, в них умерла национальная гордость, им наплевать на разделенную родину. Они согласны с красными, они против фон Шаттена. И среди этих заблудших манифестантов — его дочь...

Он писал Розе долго, осторожно выбирая слова, боясь порвать окончательно непрочную нить, которая еще связывала его с дочерью.

«Тебя не виню, Роза. Ты умеешь постоять за себя. И это хорошо. Христианские демократы не признают марксизм, в вашей партии иногда упоминают Маркса. Мы за правопорядок, так и вы против революции. Внешняя политика? Да, кое-что нас здесь разделяет. Так будем убеждать друг друга, как положено почтенным парламентариям. Аргументами, в открытой полемике, в дружеской беседе. За домашним столом, в семейном кругу.

Ты, дорогая, не услышишь упреков. Твой родной дом — для тебя. Мы не поставим условий, занимайся

политикой. Только вернись. Успокой мать и меня, пожалуйста нашу фамилию».

Без волнения, удивительно спокойным надрывал Герман конверт — раз ответ пришел так быстро, значит, угомонилась, одумалась Роза. Четкие буквы разбежались по листу. Верхняя строчка отдалась в сердце давно не слышанным, трогательным «Дорогой отец!»

А строчки бежали и бежали по листу. Словами простыми, убийственными. Тоскливой хваткой сжало горло:

«Мне тяжело писать тебе. Я ухожу оттуда, где лишь упоминают Маркса. Но не туда, где не признают его. Я сделала трудный шаг к истине. И помогли мне, только не пугайся, отец, коммунисты. Отныне я с ними.

Как ни горько, но это окончательный разрыв. Обо мне не волнуйтесь. Я здорова, я с друзьями. Прости за резкость — иначе не могла. К сожалению, нас разделяет далеко не кое-что. Роза».

Две недели в молодежном лагере промелькнули как единый и неповторимый день, оставив в сердце легкую грусть и надежды на будущие встречи, а в записной книжке адреса молодых друзей из разных стран. Мы прощались, мало надеясь увидеться. Роза провожала советскую делегацию.

И все-таки судьба распорядилась иначе. Ритм X Всемирного фестиваля молодежи и студентов, равномерно деловой, но интенсивно насыщенный, отнимал все свободное время. Такая постоянная занятость была приятной и радостной. Нарядный, праздничный Берлин всех закружил в хороводе дружбы, завихрил в плановых и стихийных дискуссиях, он бросал нас в круговерть мероприятий, и, честное слово, утро каждого дня заставляло решать головоломки: куда кинуться, что посмотреть, с кем встретиться, где побывать?

Я уже знал, что Роза приехала в Берлин. Дни летели, а встретиться никак не удавалось — фестивальные пути и повседневные хлопоты упрямо разводили нас. Наконец судьба подарила нам несколько часов. Я ходил по Трептов-парку и ждал Розу. Глядел на этот всемирно известный мемориал, и мысли уводили мою память в прошлое. Думалось, что ни бурлящий праздник, ни вселенское разноязычие, ни орудийный грохот прощального фейерверка — ничто не разбудит павших солдат.

Вечным сном спят советские парни в берлинской земле. Бронзовый исполин воин, вставший скорбным изваянием на вечную вахту в Трептов-парке Берлина, стережет их вечный покой. Доверчиво припала к могучей груди солдата-памятника немецкая девочка. Он, прошагавший кровавыми дорогами от самой Волги, защитил ее детство, принес ее сверстникам новую жизнь, подарил свободу и будущее. Он долго шел, он трудно шел сюда, на берега Шпрее, чтобы встать надежным стражем покоя погибших и надежды живых.

Ему бы разбудить уснувших навеки, чтобы и они увидели праздник юности, торжество дружбы. Они с боями шли к этому празднику, но суждено было прийти другим, их детям и внукам. Наверное, о многом думали погибшие в жестокой войне. Но вряд ли и самые смелые могли в грозные сороковые годы представить такое... Что второй раз в Берлине соберется молодежь мира, в городе, одно упоминание которого в те далекие годы вызывало гнев, горячее желание взять оружие, что сегодня город Берлин олицетворяет дружбу и миролюбие!

Оживленная и взволнованная Роза отрывает меня от воспоминаний. С ней вместе в наш разговор вторгается сегодняшний день, фестивальныя заботы. Да, у них немало проблем: делегация разной политической окраски. И днем и ночью дискуссии. Конечно, приехала группа хулиганствующих юнцов — выкормыши Штрауса. У них одна забота: если не сорвать праздник, то хоть нашкодить немного. Возмущению Розы нет предела — эти юнцы уселись на площади, устроили что-то вроде забастовки. Листки клеветнические разбрасывают. Расчет у них прост: а вдруг хозяева фестиваля поддадутся на провокацию, и там, смотришь, потасовка... Уж больно им хочется с разбитыми носами героями пошагать в Западный Берлин. Чтобы прирученная магнатами пресса завопила о свободе личности.

А потом, встряхнув головой, Роза смущенно извиняется:

— Да что я все с проблемами? Вы про свою делегацию расскажите, о ваших больше хочется знать.

За разговором время бежит быстро. На парк опускаются сумерки. Десятый Всемирный фестиваль прощается с Берлином. Причудливые гроздя салюта гаснут и вспыхивают вновь, золотые огоньки рассыпаются по

бархату августовского неба, высвечивая могучую фигуру солдата, застывшего на боевом посту. Солдат-памятник вглядывается в праздничное веселье, в молодежь семидесятых, и чудится мне, что разглаживаются бронзовые складки на его лице, теплеет взгляд.

СОЛДАТ БУНДЕСВЕРА

Командир батальона не любил строевые занятия и на плацу бывал редко. Там драли глотку другие, по-гусиному вышагивали солдаты и под отрывистые команды ретивых унтеров лихо козыряли, ломали строй, вновь смыкались, брали на караул. Шагистика вырабатывала автоматизм, но их души оставались все равно за семью печатями. Майор понимал, что муштра в наше время выглядит прусским анахронизмом, и несколько раз говорил об этом командиру полка. Тот отмалчивался, ссылался на традиции, на уставные положения, добродушно посмеивался. Майор, конечно, не предлагал совсем отменить строевые занятия, нет, ему хотелось за счет муштры выкроить лишнее время для воспитания солдат. Печально, что полковник не соглашался. Он редко сталкивался с рядовыми и, забыв про время, наивно полагал, что и сегодняшний солдат ни о чем не думает, ни о чем не рассуждает. У него мерки канувшего в небытие монолитного вермахта, где воля командира цементировала в броневой кулак все помыслы и действия солдат. Да, неозвратно то время, и, наверное, оно было в другой жизни.

Майор смотрит в окно, и перед взором все та же унылая картина. Приземистая скучная казарма, кучка солдат, собравшихся на перекур, вольнонаемные, спешащие к пропускному пункту. Устало закрывает глаза. И другие видения встают в памяти. Стылый воздух колет горло, снег, снег, насколько хватает глаз. Белое погребальное поле, которое уготовила для них чужая, враждебная страна. В роте больше убитых и обмороженных, чем оставшихся в живых. Советская артиллерия квадрат за квадратом взрывает мерзлую землю. Капкан захлопнулся на смерть, один из многих в сталинградском котле. Ротный, как и все, объят ужасом. И он боится выдать себя, боится слов, разговоров. Он знает, что они обреченные и сам господь бог не спасет их.

Разговоры о деблокировании, о том, что фюрер не бросит их, надежды на успехи удачливого Манштейна — все это последнее утешение, прощальная улыбка на краю могилы. Их рота вцепилась зубами в опушку леса, она еще слабо огрызается вялым огнем, нехотя поднимается в контратаки, но это уже не бой, а жалкая агония.

Майор напрягает память, пытается вспомнить лица. Их должны были удерживать годы. Беспомощно трет виски, зло чертыхается. Они на один манер — запавшие глаза, щетинистые щеки, упрямые рты. Тогда он вызвал гроих. Они вытянулись перед ним, но глядели исподлобья, тяжело. Прерывисто, сипло дышали. Гулко и надрывно кашлял фельдфебель. Ротному было нелегко грусливую ложь облечь в форму приказа. Он уперся глазами в небритые, сизые от мороза лица и кратко поставил задачу. В роте секретный пакет. Государственная гайна, которая не должна попасть в руки русских. Высший долг перед рейхом обязывает его прорваться к своим. Знает, что идет на гибельный риск. Но интересы фюрера ему превыше жизни. Их задача — прикрыть автомобиль огнем, броситься в контратаку, отвлечь русских.

Посмотрел на солдат. Смутился под ненавидящими, презрительными взглядами. Удивленно вскинул брови. А стылые ботинки пристукнули: «Яволь!» (Есть!) Робко царапнулась совесть — каков в их глазах командир, бросающий роту? Но, взглянув на вытянувшихся солдат, подумал, как отрубил: они уже без имени, они мертвецы, а его жизнь еще нужна рейху.

Майор встряхнулся, попытался прогнать от глаз их стылые, подчинившиеся ботинки. И что лезет в голову похороненное в глубинах совести жуткое, невозвратное? Он давно не вспоминал постыдное, да и свидетелей его грусливого бегства не было в живых — видимо, русские тогда уложили в снег всех до единого. И, поглядев в окно, уткнувшись глазами в курящих солдат, майор наконец нашел причину неожиданной вспышки памяти.

Солдаты не слышали, когда он подошел. И потому неvspугнутый спор разгорался с каждой минутой. Глазвенствовал кадыкастый, с рыжим пожаром на голове, долговязый парень. Он задиристо наступал на круглолицего, обсыпанного веснушками.

— Ах ты телок неуклюжий. Хоть в башку-то удари-

ло, почему до деревни в цивильном костюме ехал, а? Ну что глазами хлопаешь? — Рыжий для выразительности постучал по лбу круглолицего. — Ох и медленно закипает, мыслитель, — зло прищурил глаза, с вызовом оглядел товарищей. — Сами слюнтяи хорошие. Честь мундира пачкаем, в глухой деревне только и щеголяем в нем. Дожили — по городу стесняемся в форме пройти. Чуть за проходную — и маскарад.

Робкий голос перебил:

— Пройди попробуй. Будто на ряженого смотрят. С издевочкой поглядывают.

— Насмешек красных испугался? — Кадык нервно заходил в тонкой шее. — Дай им волю, так и вовсе страну без армии оставят. Эти смутьяны нас с вермахтом сравнивают. Их логика преступна — немец не должен надевать мундир. Хватит, дескать, пощеголяли, нацию к катастрофе привели. Выходит, нам в кружевных рубашках неприятеля встречать?

Вмешался в спор застенчивый новобранец:

— Если бы одни красные... Почтения к мундиру и у богатых мало. Кричат, что опозорили его, проиграв войну. Словом, и обряжаться нечего, раз их интересы не умеем отстоять.

Рыжий растерянно покрутил головой, на мгновение растерялся. Оглянулся на приятелей — может, кто вразумит и этого бестолкового. Солдаты молчали. Кадыкастый вновь принялся рассуждать.

— Толстопузые на передовую что-то не очень рвались и за фатерлянд жизни не клали. Ишь, паразиты, плохо их берегли. А ведь кошельки целехоньки остались. Думать разучились, по шаблону мыслят.

Начал загибать пальцы:

— Вермахт на чужое зарился, а мы мирная армия. Бундесвер рожден для защиты.

— От кого? — Голос был насмешливым, уверенным.

Рыжий заговорил ожесточеннее:

— Дурень ты. От врагов, конечно.

— Но мы не собираемся воевать, умник. Так же говорят командиры.

— Наивным прикидываешься? Митинг хочешь устроить? То-то по морде твоей ехидная улыбочка бродит.

Майор уже наглядился на рыжего, а теперь заинтересованно разглядывал его оппонента. Сухощав, складен по-спортивному, взгляд открытый, резкий. Крутой

подбородок, брови взлет, высокий лоб. Говорит немного, но веско, скупыми репликами обескураживает велеречивого рыжего.

Майору не удалось дослушать спор — подгоняло время. Да и солдаты могли заподозрить, что попросту шпионит за ними. Он тогда пришел в кабинет взвинченным, но растерянным. Закрыв было глаза, чтобы отвлечься, так нет же, солдатские разговоры вытащили из глубин памяти снежное поле, укоряющие глаза оставшихся там, его постыдное бегство!

Надо себя взять в руки. К черту вас, гости из прошлого, к дьяволу и солдатскую болтовню, ненароком услышанную на плацу! Хотя любопытно зацепить этого парня, прощупать его нутро. Тем более что после обеда занятия будет проводить он, и по графику в аудитории будет эта рота.

Курсанты деловито раскладывали карты, точили карандаши, запасались красными и синими стрелами. Майор терпеливо подождал, пока уляжется шум. Мысленно пробежал еще раз тему. Им сегодня предстояло изучать охваты как одну из разновидностей наступления. Тема интересная, что и говорить. Да и примеров хоть отбавляй — и все поучительные, впечатляющие.

Командир батальона слегка коснулся теории. Истории, начиная с античных времен, посвятил несколько минут. Основной рассказ о недавнем, о второй мировой войне, которая дала десятки образцов глубоких, стремительных охватов. Радостно модулировал голос, когда рассказывал о лете сорок первого года, улыбка не сходила с лица — тогда вермахт неудержимо катился на Восток, веерами охватывая, окружая, отсекая вражеские дивизии. Пригас, потускнел рассказ о сорок втором, стали сдержаннее интонации. Балансировал, как по первому льду. Вглядывался в лица солдат, нет ли двусмысленных улыбочек? Нет, он не зря числился отличным оратором. Минут пятнадцать говорил о волюнтаризме Гитлера, о сумасбродных его решениях, которые мешали в полном блеске развернуться полководческим талантам немецких генералов. И когда казалось, что пройдены все рифы и в классе установилась уважительная тишина, выстрелом хлопнул вопрос:

— В Сталинграде Паулюса тоже охватили?

Майор метнул глаз на любопытного — так и есть.

Хотел оборвать нахала, отчитать резко, но заставил себя сдержаться:

— Там вина фюрера. Никого не слушал, лез напролом.

Сухощавый не унимался:

— Только ли это?

— Что вы хотите сказать?

— Из уроков надо извлекать выводы.

— Кому? — Майор вот-вот готов был сорваться.

— Да хотя бы вам, — спорщик одернул мундир.

Преподаватель и на этот раз остановил себя. Но вопрос его был угрожающим:

— Мне? Жду разъяснений.

Парень широко улыбнулся:

— Это пожалуйста. Договоры с Востоком заключили, а по каким картам нас учите? — Открытая улыбка перешла в иронию. Класс затих, повисло тревожное ожидание.

Кровь бросилась в голову. Майор уже не помнил себя:

— Вон, сопляк. Чтобы духу твоего не было. Двадцать суток ареста. Я покажу агитацию, я в бараний рог сверну тебя, красный смутьян.

Так и оказался солдат бундесвера Эрих Вагнер на гауптвахте, а потом и в тюрьме. Майор ходил героем, выразительно смотрел на солдат, упивался победой.

В праздничном упоении майор не заметил, как над его головой начали собираться тучи. От первой тревоги отмахнулся — ну подумаешь, ходят длинноволосые по улицам и горланят: «Свободу Эриху!» Так дружки его закадычные воду мутят, пусть орут, от крика тюремные стены не рушатся. Легким облачком показался и разговор с командиром полка. Поскрипел, побрюзжал, лениво так осведомился: «Что там стряслось с этим, как его? — Фамилию полковник, конечно, забыл и, махнув рукой, раздраженно добавил: — Вы уж поделикатнее, майор. Не те нынче времена, — наткнулся на протестующий взгляд и примиряюще закончил: — Верю, что ради дела. Не виню. Но запросы сыплются. Вас обвиняют в нацистских взглядах».

Так впервые услышал майор об общественном трибунале. Его создали молодежные организации. Они же требовали увольнения командира батальона из рядов бундесвера, этого добивался и трибунал. Хотелось плю-

нуть на толпу, но вал протестов нарастал как снежный ком, грозя вырасти в лавину, которая сбросит его, майора.

Нужно было примолкнуть, переждать. Но батальонный закусил удила. Еще придирчивее стал к солдатам, все откровеннее высказывал свои взгляды на лекциях. В отличие от других офицеров изъяснялся четким слогом, где не было места недомолвкам, уклончивости. Верил, что после ареста Эриха Вагнера никто не посмеет пикнуть.

Эту газету с игривым названием «Вольно!» ему услужливо подsunул командир второго батальона за обедом. Растерявшийся майор повертел в руках солдатский листок. Коллега ехидно обронил:

— Именинник вы, майор... Да не сюда, поверните страницу.

Крупный заголовок обжег, ослепил. Буквы запрыгали в глазах. Они издевательски вопрошали: «Сколько еще будет нас учить нацист?»

С трудом дочитал заметку. В бешенстве скомкал листок и бросил под стол. Посмотрел на соседа. Встретившись с побелевшими зрачками майора, тот задумчиво протянул:

— Башковитые клеветники. Дался им этот Вагнер. Да это полбеда, а вот до прошлого докопались.

Майор подавленно молчал. Ужасало главное — кто-то встал из могилы. Заговорил через тридцать лет белый снег. Прошлое пришло из сталинградских степей. Молоточками стучало в голове: кто, кто? Кто же выбрался из ада, у кого солдаты узнали о его постыдном бегстве? Напрягал ум, пытался увидеть прошлое, вспомнить лица. И опять та же чертовщина: запавшие глаза, сизая щетина, упрямые рты.

Словно пьяный шел по плацу. Встречные солдаты торопливо козыряли офицеру, и вроде все было на месте. Но чудились другие глаза, насмешливые и презрительные, укоризненные взгляды тех, кто остался лежать в далекой, вражеской стране. Подумал о рапорте, который швырнет на стол командиру полка, где не будет строк извинения, признания ошибок, наоборот, в текст он вложит все презрение к этому балагану. До чего дожили, бог ты мой! Рядовые в роли очернителей кадрового офицера... Да в другие времена...

Сценарий высокомерного рапорта сорвался — май-

ору не пришлось хлопнуть дверь. Утром следующего дня казарма гудела, как растревоженный улей: из тюрьмы вернулся Эрих Вагнер. Многие газеты поместили пространные интервью с героем дня, напечатали подробные рассказы о прошлом майора.

Полковник до слащавости корректен, его сочувственная обходительность вылезает за рамки уставных положений. Он усадил майора, предложил свою сигару. Сочувственно развел руками. Ронял слова расчетливо, тщательно фильтруя свои мысли:

— Вы взяли фальшивую ноту, надо вовремя угомониться. Не везде надо кричать вслух. Не спорьте, не спорьте, отлично вас понимаю.

И опять руки в стороны. Благодушная улыбка на лице:

— Придется писать рапорт. Отставка, майор.

Почтительно поднял глаза, толстый палец поплыл вверх:

— Оттуда. И я бессилен! Звонили. Предлагают подать в отставку. А это приказ, голубчик.

Ребята наперебой пересказывают нам историю Эриха Вагнера. А сам он мягко улыбается, часто краснеет и время от времени бросает реплики. За окном теплый августовский вечер, на темной улочке кто-то осатанело рвет гитарные струны. В этой маленькой комнате собрались активисты Социалистической немецкой рабочей молодежи. Пришли сюда после нелегкого трудового дня, чтобы побыть вместе, обменяться новостями, прикинуть кое-какие планы. Буквально атакуют вопросами гостей — советских сверстников. Боевые, постигающие сложности жизни ребята, они обо всем хотят знать. Нехитрый ужин, наспех приготовленный девушками, стоит целехонький — в круговорот беседы втянуты все, и некогда заняться пивом и бутербродами. Разговор дробится, мы пленены любознательными хозяевами. Каждый ведет свой диалог, чинный протокол распался, уютная комната бурлит водоворотами частных бесед.

Наконец я добираюсь до Эриха. Он явно смущен повышенным вниманием и оттого кажется неловким, малоразговорчивым. Морщины пробегают по открытому высокому лбу. Не хочется торопить этого симпатичного парня. Поборов смущение, он медленно роняет слова:

— Приукрасили многое. И не такой уж я смелый.

Считай, целый год прилежным был. Слушал, записывал. А рот не раскрывал.

Потеплевшими глазами обвел оживленно разговаривающих ребят:

— Зато новых друзей приобрел. Какие ребята, вы бы знали! Это ведь они первыми вышли на улицы, чтобы выволочь меня из тюрьмы. До армии я к ним дороги не знал, колыхался туда-сюда. А после всех мытарств пришел наконец.

Мы ехали в гостиницу по притихшим, засыпающим улицам большого города. Торопились в гаражи припоздавшие машины, устало перемигивалась реклама, затихали бары и кабаре. Автомобильные фары выхватывали бесчисленные плакаты, лозунги, воззвания — ими пестрели заборы, рекламные щиты, кирпичные стены, афишные тумбы. Один из плакатов звал молодежь на манифестацию, чтобы еще раз сказать «да» восточным договорам и «нет» политике реванша. И радостно подумалось, что в рядах честных, порывистых молодых людей пойдет бывший солдат бундесвера Эрих Вагнер.

ТОСКУЮЩИЕ ПО СВАСТИКЕ

Какое-то время я сомневался, недоумевал. Неужели и впрямь возможны подобные встречи? Пристальнее вглядываюсь в respectableного, степенного господина. Он обстоятельно и спокойно возражает молодым собеседникам. Его длинноволосые оппоненты бросают колючие реплики, ведут себя шумно и задиристо. На лице господина сама благопристойность, аргументы он излагает тихим голосом, помогая себе крупными холеными руками.

Мои сомнения разрешаются враз, как только господин поворачивается ко мне правой щекой. Нет, все-таки цепкой оказалась мальчишечья память. Как и тогда, очень давно, во всю правую щеку полыхает родимое пятно.

...По весне отгрохотала война победными салютами, а мужики все не возвращались. Из оборванного войной ребячества мы шагнули в неустроенное послевоенное отрочество. Басили ломкими голосами, дерзили матерям, тайком покуривали крепкий самосад и управлялись с мужской работой. На подростках и бабах держался

тогда колхоз. Из тягла в деревне были две клячи, брошенные сердобольными ездовыми. Мы выматывались до изнеможения, приучая строптивых быков к плугу и телеге. Послевоенное лето уродило щедро, словно наверстывая недороды военных лет. Трудно было управляться с хозяйством, и не было нам поблажек от взрослых. От темна до темна работали в поле, и сейчас даже трудно представить, как легко и сноровисто таскали мы шестипудовые мешки.

Завод, куда колхоз сдавал картофель, находился от деревни километрах в двадцати. Плохо смазанные телеги тягуче скрипели, быки плелись еле-еле, и мы часами лежали на мешках, глядя в бездонное небо. Мечтали, что скоро вернуться отцы и не будут спозаранку будить нас матери, когда вставать нет никакой мочи, что прекратятся эти надоевшие поездки и пошагаем мы в школу.

Но кончалась длинная дорога, и уплывали наши мечты. Сбрасывали мешки на весы, получали квитанции и отправлялись в обратный путь. Частенько у завода вереницей выстраивались возы; переругивались возчики, быки меланхолично жевали жвачку, а мы коротали время как могли. Пересказывали боевые истории, услышанные от пришедших с войны, изрядно присочиняя и привирая, играли в ножички, задирались с мальчишками из других деревень.

Я лежал на возу и читал «Айвенго», когда к телеге подошел пленный немец. Их лагерь находился рядом с заводом, и, наполовину расконвоированные, они часто бродили между телег. По-разному глядели на них, безоружных, плененных. Хмуро и с любопытством, неприязненно и удивленно. Дед Семен, которому пришли три «похоронки», отворачивался, сплевывал едкий самосад и враз умолкал, однорукий дядя Павел что-то говорил им злое, и они, понурые, отходили от наших телег.

Немец осторожно тронул меня за штанину. Я обернулся, и первое, что бросилось в глаза, — огромное родимое пятно на правой щеке. Он пощупал мешок, прищелкнул языком и, заискивающе улыбнувшись, проговорил: «Гут, гут». Я буркнул в ответ: «Хорошо, да не твое», — и опять уткнулся в книгу. Немец присел на ступицу колеса, тяжело вздохнул и полез в карман френча. Когда я снова поднял глаза, он держал в руках залоснившийся бумажник и, тыча пальцем в фотогра-

фию, уныло повторял: «Цвай зонне». С карточки глядели два полных мальчишки с белыми воротничками и аккуратными манжетами, а красивая женщина, поджав губы, гладила их стриженные затылки.

Фотография не разжалобила меня — не мог же я транжирить колхозное добро. Немец покорно убрал карточку, почесал в затылке, поднялся. Вновь полыхнуло родимое пятно. Мне вдруг стало жалко пленного. Предательская сердобольность разлилась по телу, сразу растворив мальчишескую непреклонность. Оглянувшись на соседние телеги, я суетливо развязал мешок. Немец с готовностью загнул полу шинели. Потом он долго жал мою руку, говорил торопливо, что все «капут»: война, Гитлер. Я ругал и оправдывал себя. Думал, что не обеднеем от этой картошки, хотя дал я ее врагу. Но он ведь подошел ко мне без оружия...

До самого вечера терзали меня сомнения. Я пошел к дяде Косте и все рассказал ему. В доме была шумная застольица — весь обвешанный орденами и медалями, дядя Костя только неделю назад пришел из-под Берлина. Он нахлобучил на самые глаза мою кепку, долго смеялся, и медали тренькали друг о друга, а потом посерьезнел и начал втолковывать:

— Сердце не ожесточай. Оно у нас в бою стальное, а так отходчивый мы народ. Говоришь, зовут Рудольф? Что ж, может, и убивал, а скорее всего так и есть. Теперь былого не вернешь. В завтра глядеть надобно. С деда Семена и спросу нет, а вам жить и с немцами придется. Они повержены теперь. Но наша сила не в злости.

Потом Рудольф подходил к моей телеге каждый день. Наигрывал на губной гармошке что-то грустное, смешно коверкал русские слова. Я припасал для него съестное, и он упрятывал продукты за пазуху. Он подарил мне зажигалку, больше ему нечего было дать взамен. Когда с полей убрали картошку, наши поездки прекратились.

И вот теперь, ошеломленный, растерявшийся, он трясет и трясет мою руку. Подумать только! Тридцать лет почти минуло, и вот где встретились. Смеется: не узнал, конечно, не узнал. Но вот улеглось первое волнение, и он пристальнее вглядывается в меня. Красноречивое молчание повисает в воздухе. Злую шутку сыграл с нами случай. Рудольф быстро сгоняет оцепенение, ба-

рабанит крупными пальцами по полированному столу. Берет себя в руки, и светская благопристойность возвращается к нему:

— Хоть вы и слышали нашу дискуссию, это встрече не помеха. Понимаю, что вы заодно с ними, — иронический кивок в сторону оппонентов, длинноволосых ребят, — да и как вам иначе? Они на вашу мельницу льют воду, молодые ниспровергатели. Разговор наш нелегкий и долгий, и хотелось бы потолковать.

...В пивной остро пахнет соленой капустой и жареной свининой. Под низкими сводами кабачка табачный дым сплетается в узоры, выписывает причудливые орнаменты. С непривычки першит в горле, а подвальный гул мешает чинной беседе. Мужчины, ослабив галстуки и расстегнув рубашки, опоражнивают глиняные кружки, кельнеры рисуют частокол из палочек на картонных подставках и стремглав мчатся за новыми порциями пива.

Рудольф, наблюдающий за моей адаптацией в непривычном месте, шутливо бросает:

— Смеетесь, наверное. Раз немец — значит пивная, — и, оглядев зал, уже серьезнее добавляет: — Все-таки национальное, свое. Весь мир с ума сходит, везде сплошной стереотип: битлы, алюминий, бифштексы, виски. И быт, и мысли с одного конвейера.

Я не ухожу от темы и отшучиваюсь:

— Ну уж хватили. У нас водочка, квас с хреном, пельмени... Да мысли свои имеем.

Невинная фраза срывает Рудольфа в карьер:

— Что же не спросите, в какой я партии, какие взгляды исповедую?

— А что спрашивать? Я слышал ваш спор с ребятами.

— Студенческих крикунов берете в расчет?

— Считать дело бухгалтеров, мне чужое считать нечего.

Бывший пленный осаживает запальчивость, подвигает кружки, смакует пенистое пиво:

— Признайтесь, удивлены? Думали, после плена в коммунистах ходит Руди? За хлеб-соль спасибо, не забыл, но и дух не потерял. Хотя многие после плена сникли, от политики отошли, а то и в друзьях ходят ваших. Все германское растеряли, сильным поклоняются, о позорном разгроме забыли...

До чего же респектабельным и преуспевающим выглядит сидящий напротив господин. За этой благородной сединой, за холеным, лоснящимся лицом мне никак не разглядеть бывшего пленного: задумчивого, понурого, прячущего в полу шинели русскую картошку.

Да, неисповедимы людские судьбы, какие превратности не случаются в жизни! Война, трагические потрясения не принесли ему прозрения. Он вернулся к мирному труду, но посвятил себя вновь войне. Он переждал трудные дни и всплыл на гребень шовинистической волны.

Рудольф вручает мне визитную карточку. По гляцовой бумаге бежит адрес, название фирмы, должность. Взгляд спотыкается на второй, партийной визитке. Зловещее сокращение — НДП.

Три буквы, которыми прикрылись недобитые, недоученные. Они нахально смотрят с предвыборных плакатов, с афишных тумб, красуются на листовках и значках. Пока не довелось мне побывать в Западной Германии, трудно было ответить на вопрос: неужели после пережитого, содеянного нацизмом человек не рискует прослыть здесь сумасшедшим, причисляя себя к неонацистам, открыто афишируя реваншистские взгляды. Да, издали все казалось проще, схематичнее. В повседневной жизни чужой страны водораздел между добром и злом размыт и не видится таким рельефным. В большом ходу словесная демагогия, политическая эквилибристика, социальная мимикрия.

Здесь выигрышна позиция маленького человечка, исполнителя приказов сверху, в сущности своей не жестокого, а гуманного, по злему року втиснутого в адский механизм гитлеровской Германии. Много раз приходилось разговаривать с мужчинами, перешагнувшими рубеж пятидесятилетия, но и сегодня поражающими своей солдатской выправкой. Смотришь на них, и нет никаких сомнений — многие шагали по моей земле. Но стоит спросить — бывал ли? — смущение, заминка. И, как правило, стереотипное пояснение, что, к сожалению, пришлось, о зверствах, конечно, наслышан, но мне повезло — я шел в тыловых частях, так: заготовки, провизия, строительство...

И проходят чередой тыловики и обозники, интенданты и санитары, ремонтники и музыканты. Невольно задаешься вопросом: а где же те, с засученными рукавами,

с автоматами, сеявшими кругом себя смерть, где хладнокровные убийцы, вешатели? Будто сгнули они все на моей земле, будто в фатерлянд вернулись только чистенькие, насильно мобилизованные, не разделявшие доктрин бесноватого вождя.

Многие из них ходят и живут среди людей, загринтовав кровавое прошлое, облачившись в цивильные фраки, став примерными семьянинами и цепкими коммерсантами. Рекламирывать свое нацистское прошлое, потрясать Железными крестами, гестаповскими регалиями — к такому любят прибегать рехнувшиеся фанатики, горластые крикуны. Время требует и большей изворотливости, и большего ума. Внешняя мишура демаскирует, обнажает. Искусство в другом — под респектабельностью и светским обаянием уберечь реваншистское нутро, сохранить верность сумасбродным мечтам. Старые нацисты учатся разлагать души молодых, вербовать в свой стан новые когорты юных реваншистов.

Слов нет, не все щепетильны в выборе общественного обличья. Водовороты грязной пены иногда бурлят и в повседневной жизни. То недобитые эсэсовцы при всех регалиях прошествуют по какому-нибудь городку, то устроят освещение постыдных штандартов рухнувшего райха, то закатят средневековый шабаш ветераны солдатских союзов, то взорвутся бомбы левых горлопанов, то вырядятся в гестаповские френчи молодые правые.

...Все было таинственным и страшным. И сам Тевтобургский лес, тревожно гудевший столетними соснами, где, по преданию, германские племена разбили римских легионеров, и прыгающий свет факелов, и беснующиеся гости. Устроитель этого сборища Бернгард Винцек, лидер молодых правых, долго разрабатывал сценарий фашистской вакханалии. Юный гитлеровский последыш постарался сделать все, чтобы шабаш в Тевтобургском лесу ничем не отличался от устрашающих оргий гестаповцев и штурмовиков. На поляне вещал ученый муж, вбивая в молодые головы, что немецкий мозг весит 1307 граммов, а мозг негра всего 1201 грамм (ну чем не людоедские изыскания гитлеровских антропологов), седовласые матроны раздавали собравшимся газетенку «Викинг» с текстом предсмертного письма Магды Геббельс, пьяные глотки на всю округу орали песню «Германия, Германия превыше всего».

Признаюсь: до поездки в ФРГ три зловещие буквы — НДП — виделись мне однозначно, упрощенно. Думалось, что эта партия слепо наследует багаж идеологов рейха и ее фразеологическая оснастка мало чем отличается от доктрин гитлеровских социологов. Суть притязаний, волчьих аппетиты остались. Но словесная косметика наведена тщательнее, тоньше. Коричневая окраска расползается на полутона, искусные руки делают ее приглушеннее. Коричневые мундиры превращаются в партикулярные платья, а программа партии за счет словесной эквилибристики в благопристойный обывательский документ.

На предвыборных плакатах — указующий перст и слова, нацеленные в рядового, сентиментального немца: «Трудящийся! Не позволяй себя одурачивать! Левые в Бонне на наши налоги гуляют с шашлыками, цыплятами и с прогрессивными артистками».

Какое панибратское обращение к рабочему, сколько равенства и демократизма в столь фамильярной преамбуле!

Сделав резкий выпад влево, неонацисты (впрочем, себя они упрямо называют национальными демократами) для порядка и демагогии делают разворот и вправо. И бьют наотмашь:

— Только для капиталистов проводят свою политику ХДС и ХСС! Государство должно служить народу!

Неправда ли, как смело бьют по большому капиталу! Это для полной и сердечной доверительности с трудящимися. Пусть они-де уверуют в новоявленных бессребреников.

Лихо расправившись с конкурирующими партиями, неонацисты обрушивают на голову обывателя каскад обещаний:

«Лишь только мы проведем в жизнь то, о чем думает большинство нашего народа. Социальная справедливость и социальные гарантии — поэтому голосуйте за НДП!»

Да, на отсутствие скромности и самоуверенности пожаловаться нельзя. Но это цветочки — ягодки впереди. Поговорив о хлебе насущном, представ перед избирателями радетелями народных интересов, их бескорыстными защитниками от алчных монополий, штурманы неонацизма не без робости взбираются на внешне-

политического конька. Здесь так резко не поскачешь, выражения выбирать надо с оглядкой. И начинается искусное словоблудие:

«Сегодня немцы преклоняются перед победителями. Мы, национальные демократы, хотим пробудить разделенных немцев. Вернем мировой ранг, который нам причитается!»

И, чтобы не проглядывали доспехи рыцарей реванша, со страниц демагогической программы слетает голубь:

«В атомный век не может быть прогресса без мира. Выступаем за свободу и порядок. Германская позиция зависит от восстановления центра путем воссоединения!»

Словесное миротворчество иссякает быстро, и дальнейшие строки звенят металлом, наливаются угрозами:

«Нам нужна военная сила, чтобы отрезвлять любого противника. Недопустимо создание всевропейской безопасности. Всеобщая воинская повинность — единственная перспектива и ценное средство воспитания граждан!»

Вот где прорвало! Чем дальше, тем более открыто. И оснащение вооруженных сил самым современным оружием, и создание германского генерального штаба, и введение военных судов для поддержания солдатской дисциплины.

А заключительный аккорд скорее истеричный визг, чем пункт политической программы:

«Мы отказываемся признавать реальность коммунистических завоеваний 1945 года!»

Вот так, ни больше и ни меньше! Кто-то из составителей, видимо, спохватился и сообразил, что солидным политическим партиям не пристало заканчивать программу таким истошным криком. Пригладили, подшлифовали. С международных позиций вернули призывы в русло повседневных забот рядового немца:

«Борьбу квартирным спекулянтам, изменение системы страхования, отмена налогов на сверхурочные, повышенные налоги на крупных предпринимателей!»

Эти строки, по расчетам авторов, должны проникнуть в самую душу избирателя, тронуть заботливостью, повседневным радением о благе маленького человека.

Хорошо, что этот человек, живущий в капиталистической стране, выработал устойчивый иммунитет против демагогии, а люди довоенных поколений отлично знают цену социальным разглагольствованиям заправил «третьего рейха», духовных отцов сегодняшних неонацистов.

Документик новоявленных коричневых обрамлен умело, со смыслом. Начинался он с обращения к трудовому человеку. Закончили его плаксиво, жалобно и в тот же адрес:

«Эта листовка напечатана на пожертвования трудящихся, помогайте и вы!»

На последних выборах избиратель дал неонацистам звонкую затрещину и выбросил их в политические загоулки. Растерялись партийные функционеры, да и все коричневое воинство приуныло. Но играет большой сбор патриарх западногерманских ультра горластый Штраус, сеет ненависть со страниц своих изданий Аксель Шпрингер, вовсю беснуются землячества, твякают в эфире и клеветуют с газетных листов воинские союзы, различные лиги и объединения. Их больше сотни, этих змеиных гнезд, прикрывшихся вывесками молодежных, культурных и прочих организаций. Есть небольшая разноголосица в частности, но зато в главном это спевшийся хор: пересмотреть итоги второй мировой войны, заморозить европейский климат, протолкнуть к государственному рулю милитаристскую клику.

Вечерами, когда добропорядочный бюргер усаживается в домашнее кресло, на голубых экранах появляется импозантный человек в роговых очках. Он подкупает телезрителей солидным возрастом, интеллигентными манерами, доверительным тоном. Начинается программа Левенталя: ярого антикоммуниста, мироненавистника и растлителя доверчивых телезрителей. Щедро оплачиваемый трубадур большого капитала не страдает комплексом скромности: он все время подчеркивает, что берет проблемы глобальные, чурается мелочей и только забота о мире заставляет его выходить в эфир.

Махровый антисоветизм теперь и здесь в небольшой цене, и, чтобы не выглядеть одиозным мастодонтом «холодной войны», Левенталь врет с претензией на объективность, клеветает, тщательно дозируя полуправ-

ду и откровенную ложь. Он очень любит влезать в повседневные дела стран социалистического содружества, высвечивать малейшие нюансы в их подходах к той или иной проблеме, пророчествовать, намекать, кликушествовать. В один из вечеров этот велеречивый господин долго распространялся о взаимоотношениях СССР и Польской Народной Республики. Каких только кулбитов не делал телевизионный мессия, чтобы убедить аудиторию в исторической неприязни двух соседних наций, в фатальной неизбежности будущих противоречий и осложнений между ними. Исторические экскурсы в события столетней давности, интервью с отщепенцами польского народа, лженаучные эссе маститых «советологов» — ничем не брезговал пророк эфира.

Титулованный клеветник стряпает на своей антисоветской кухне передачи одну ядовитее другой. И, конечно, немало людей усаживается к телевизору, чтобы посмотреть программу Левентая. Одни потому, что этот отравитель экрана будит родственное в их душах, другие просто скоротать время, третьи чтобы послушать известного обозревателя.

Смотришь телевизор, листаешь газеты, и невольные вопросы напрашиваются сами собой. Когда правящая ныне коалиция сидела на скамьях оппозиции, ее парламентарии требовали запрещения партии неонацистов. Определенные сдвиги и успехи на внешней арене радуют, но сколько нерешенного внутри страны. До сих пор функционируют солдатские союзы, настоянные на крепкой милитаристской закваске. Каждая дивизия имеет солдатский союз ветеранов. Свои сборища несостоявшиеся завоеватели мира проводят часто и крикливо; стряпают фальсифицированные мемуары, пишут истории бандитских дивизий, устраивают празднества в честь своих посрамленных штандартов. И, к сожалению, в своих организационных хлопотах эти побитые, но не угомонившиеся не встречают особых осложнений.

...Теплым вечером, когда маленький городок дремал после дневного зноя, мы давали интервью корреспонденту радио. Лесистые холмы пеленал туман, его кисейные пологи укрывали долины, над городком плыл колокольный звон. Домашний уют, мирные запахи растекались вокруг, и было невозможно поверить, что из этих мест уходили кованые сапоги топтать мою землю, а в этом провинциальном городке бесновался фашизм,

и отсюда тоже шла по Европе коричневая чума. Разум отказывался в это верить.

Наш собеседник тонко уловил лирический настрой, удивительную неповторимость летнего вечера. Как можно интимнее сформулировал вопрос:

— Простите, еще раз о минувшей войне. Согласен, все было ужасно. Но оглянитесь вокруг, на эту мирную землю, всмотритесь в этих добродушных граждан, любящих сосиски и пиво. Вы серьезно верите в то, что фашизм когда-нибудь сможет возродиться? В Западной Германии для него нет почвы. И если откровенно, то неофашизм в ваших устах не более как пропагандистский жупел.

Не хотелось говорить без фактов. Ближайший из них находился в тридцати метрах от монастыря, в котором мы жили. Мы и пригласили интервьюера на главную улицу. Подвели к карте, висевшей в центре городка, и попросили дать комментарий. Карта кричала о реванше и несбыточных мечтах, она повторяла «тысячелетний рейх» в границах тридцать седьмого года.

Наш собеседник стал нас уверять, что это голово-тупство и недосмотр городских властей, что это скорее исключение, чем правило. Корреспондент захотел провести вместе с нами следующий день. Мы много гуляли по нарядным улицам Франкфурта-на-Майне. Остановились у роскошной витрины книжного магазина. Паучья свастика глядела сквозь зеркальные стекла. Каждый ребенок имеет возможность покупать листки со свастикой и клеить фашистский знак на игрушечные самолеты, танки. Журналист забежал в магазин и купил десять листов. Яростно изорвал их, разметав клочки бумаги по асфальту.

Наверное, наш новый знакомый и впрямь ненавидит фашизм. Но подумалось: можно изорвать несколько листов, растоптать их. А куда денешь весь тираж? Поди, он немалый — полиграфия всегда была здесь преуспевающей отраслью хозяйства.

Мое знакомство с Западной Германией было недолгим. И многое в жизни чужой страны не удалось увидеть. Да и мудрено безошибочно разобраться в сложной политической палитре, постичь все хитросплетения чужого быта и уклада, правильно оценить глубинные общественные процессы или шумные поверхностные

явления, которые бурлят во всех слоях населения. Уж больно круто был переложен руль внешней политики, да и время пребывания социал-демократов у власти исчисляется всего несколькими годами.

Мироненавистник Аденауэр и его последователи правили страной двадцать лет и преуспели во многом. Они сумели изрядно отравить общественную атмосферу, щедро раскидать среди обывателей ядовитые семена мстительной ненависти, посеять несбыточные идеи реванша и территориальных притязаний, они добросовестно унавозили почву для обильных всходов ростков неонацизма.

Их зловещее наследие не сгнуло разом с горизонта и не ушло в подполье. Недобитые вылезают еще на авансцену общественной жизни, разыгрывают пошлые националистические фарсы, щекочут нервишки бундесбюргера, играют на шовинистических струнках его сентиментальной души. Не преувеличивая реальной значимости и влияния поборников реванша и территориальных амбиций, совсем забывать о них или сбрасывать их с политического баланса было бы непростительным легкомыслием. Тем более что все эти лиги, союзы, землячества, объединения и прочий реваншистский сброд функционируют под защитой федеральных законов и до сих пор подкармливаются марками из государственного бюджета.

Но отчетливо увиделось другое, радостное и обнадеживающее: на общественную арену смело шагнула молодежь Западной Германии, в большинстве своем не приемлющая идей реванша, неонацизма, в какое бы он обличье ни рядился!

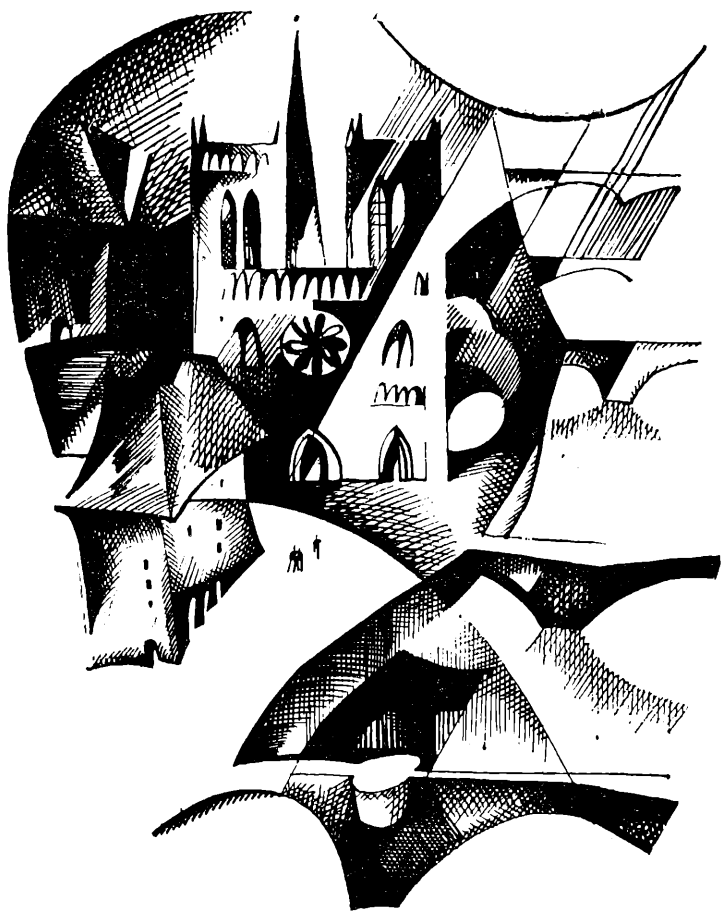
Помню поучительную сцену, свидетелем которой был. В небольшом кафе горячо и крикливо разговаривали два пожилых немца. Один из бывшей Восточной Пруссии, другой откуда-то из Силезии. Оба распаленно кричали, что если уж им не удастся вернуться на землю предков, так эту священную миссию должны выполнить молодые немцы. За соседним столиком сидела парочка. Поначалу казалось, что влюбленные глухи ко всему происходящему в зале и пьяный диалог соседей их нисколько не трогает. Но, когда подвыпившие перемещенные дошли до верхних нот, парень круто обернулся к спорщикам и презрительно бросил:

— Шагайте сами на Восток, если уж так хочется.

Еще раз по мордам получите. А нас увольте, и на нас не надейтесь. Я эту Пруссию и в глаза не видел, хоть там родился мой отец. И на что она мне сдалась! Мы с Кристиной любим Франкфурт и здесь хотим мирно жить.

Новое поколение Западной Германии не хочет повторять ошибок прошлого и отвергает шовинистическое наследие воинственных отцов. Молодежь в нелегких поисках более счастливого будущего для себя и своей страны. И в первых ее рядах — Социалистическая немецкая рабочая молодежь, марксистский союз студентов «Спартак» — организации, работающие в тесном содружестве с Германской коммунистической партией. Они пропагандируют идеи марксизма-ленинизма, сплачивают все прогрессивные силы западногерманской молодежи, борются за демократизацию общественной жизни страны, выступают против милитаризма и реваншизма. И с каждым днем растет количество их союзников и единомышленников среди молодых немцев ФРГ.

1972 год



ЗДЕСЬ ПАМЯТЬ ВСЕГДА С ТОБОЙ

ФРАНЦУЗ, КОТОРОГО ЗОВУТ АНТОН

Встревоженный непогодой, бушует океан, без устали катит он на берег тяжелые волны. Их белесые языки лижут каменистое побережье, проросшее искривленными соснами и чахлым кустарником. Пусто, ветрено на берегу непогожим днем. Тревожно перекликаются пароходы, и неустанно шлет им сигналы маяк старого форта. Его некогда грозные бастионы поросли мхом,

годы разъели, источили камни; они угрюмо высятся одряхлевшими громадами, придавая средневековый, мрачно-таинственный вид.

Мы трогаем избитые ветром седые зубцы башен, ходим по орудийным дворикам, всматриваемся в свинцовый горизонт взбудораженной Атлантики. Невесть когда воздвигнута эта крепость на западной оконечности французской земли. Сотни лет вглядывается она в океанскую даль, распознавая в иноземных пришельцах врагов и друзей, ожесточаясь орудийным огнем или расцвечиваясь приветственными флагами.

Седая старина давно отшумела схватками королей с непокорными сюзеренами, затяжными, многолетними сражениями наследников престола, изощренными интригами августейших особ. Так же равнодушно взирала древняя Атлантика на драмы прошедших времен, как и сегодня смотрит на покосившиеся бастионы, суету дошлых туристов, беспечную публику, приехавшую прикоснуться к истории, к минувшим векам. Позируют, щелкают затворами камер, гомонят на разных языках, прячут в карманы на память камешки.

Наш новый друг стоит на крепостном валу задумчивый, отрешенный. Я боюсь спугнуть его сосредоточение неуместным вопросом и потому жду. Хочу, чтобы заговорил он сам. Мне давно хочется спросить, почему этот пожилой француз носит русское имя Антон. Видимо, мысли Антона ушли из сегодняшнего дня. Мы тоже выжидающе молчим, хотя вопросы вертятся на языке. Но пусть отмолчится, побудет в днях, куда не каждогопустишь. Антон долго глядит на рвы и стены, переходит из одного дворика в другой и, наконец, уверенно произносит: «Сюда!»

Мы спускаемся в сырое, встретившее нас затхлостью подземелье. Здесь такой застоявшийся, удушливый воздух, что спичка едва горит оранжевым огнем, чуть высвечивая ослизлые многопудовые глыбы песчаника. Грот, широкий вначале, дальше разветвляется на узкие лабиринты, змейками убегающие в плотный мрак подземелья.

...Тогда, в сорок третьем, их бросили сюда. Пьер упрекал только себя. В его отряде собралась зеленая молодежь, горячая, неопытная, доверчивая. Выходит, виноват он, старый партиец, бывалый конспиратор. Он, угадывавший чужих сразу, на этот раз сплеховал

и не распознал провокатора. Но кто же втерся в отряд, кто, кто? Этот вопрос мучил хуже голода и жажды.

Пьер лежал на истлевшей соломе и отгонял обнаглевших крыс. Он боялся за молодых друзей — выдержат ли? Гестапо умеет вытягивать жилы, рвать человека на части, пока бесконтрольный язык не выдавит нужные сведения. В первый день по обычному шаблону гестапо всех зверски избили. Юные партизаны быстро теряли сознание, и, бесчувственных, их кидали на соломенную труху. Фашисты усердствовали так несколько дней.

И вдруг резко сменили тактику. На допросах появился гестаповец в штатской одежде. Первым увели наверх Пьера. Рядом с ним на соломе лежал умирающий русский парень Антон. Он был ранен в перестрелке, и били его гестаповцы с бóльшим остервенением, с какой-то тупой жестокостью. Русский слабо пожал пальцы Пьера и тихо прошептал:

— Сваливайте все на меня. Мне один конец. И тайна умрет со мной. А вы хоть отомстите сволочам.

Гестаповец услужливо пододвинул стул, любезно предложил сигарету. Начал сокрушаться, что его коллеги несколько переусердствовали. Он приказал прекратить бессмысленные избиения. Пьер вглядывался в ненавистное, обласканное косметикой лицо, и сознание своей беспомощности вызывало бессильную ярость. Где-то он видел эти голубые навывкате глаза, резко очерченный подбородок, эти ухоженные шелковистые волосы. В памяти мелькали лица, имена, жарким всплеском проплыло задымленное испанское лето, но это лицо никуда не вписывалось, оно смотрелось чужим, но все-таки когда-то виденным.

Голубые льдинки в упор усталились в Пьера:

— От тебя требуется немного — где база у отряда «Жерминаль»? И второе — на какой гарнизон планировался налет? Развяжешь язык — и, слово офицера, всех отпущу.

Пьер пожал плечами и повторил все, что уже говорил раньше.

Гестаповец усмехнулся:

— Что фанатик, вижу. Из какого отряда русский? Где пакет, какой приказ получили в нем?

Пьеру хотелось продолжить разговор, позлить гитлеровца. Но пугало другое: как бы эта вежливая атмос-

сфера, приветливые манеры... А вдруг размякнут сердца семнадцатилетних и они клонут на фашистскую приманку?

Со злостью плюнул в пустые глаза врага. Что было потом, Пьер помнит плохо. Три дня он отлеживался на соломе, впадая в долгое беспмятство, три дня между жизнью и смертью. В один из дней на допрос увели русского. Он больше в склеп не вернулся. Только в подземелье прополз слух — пристрелил его вежливый гестаповец. На допросе русский изловчился, схватил со стола пресс-папье и попытался раскроить гестаповцу череп.

Еще несколько раз выводили Пьера наверх. Он понимал: скоро конец. Но его не торопились убивать, он нужен был им живой. Только один Пьер знал, где находится отряд, из которого пришел Антон. Его били, били, били. Он терял сознание, надолго впадал в забытьё. Гестаповцы обливали его водой, и ненавистное лицо вновь склонялось к нему. Однажды, когда холодные глаза, казалось, пробуравили каждую его клеточку, Пьер вдруг узнал гестаповского палача. Конечно, это он, тихий служащий из Страсбурга.

Пьер встретился с глазами врага. И четко увидел картину семилетней давности. Бурлящий митинг, непреклонные лица забастовщиков. Этот человек на трибуне. Его медоточивый уговаривающий голос — идти с повинной к предпринимателям, дескать, забастовка проиграна. Улюлюканье, свист, негодующий ропот собравшихся.

Что-то отпустило внутри, и боль вроде притупилась. Пьер приосанился, словно сбросил мерзкий груз, давивший его все эти дни, и распухшие губы выдавили:

— А, земляк, вот где пришлось увидаться.

Фашист растерянно вздрогнул, но быстро взял себя в руки и сокрушенно протянул:

— Память, память. Что поделаешь, сдает! Годы ослабляют глаза. Интуиция подсказывала — вроде бы знакомый, да вот где встречались, товарищ коммунист, не помню. Неисповедимы пути господни...

— Ну, бога оставь себе. Сгодится еще, когда придет расплата, — отпарировал Пьер.

— Верить в победу, красный. Что ж, может, и сбудется, — и злорадно усмехнулся, — только без тебя. А ты рыбок в океане будешь кормить.

За ним пришли ранним утром. Гестаповцы, соблюдавшие пунктуальность во всем, расстреливали на рассвете. Пьера вывели на старый редут и поставили лицом к океану. Щелкнули предохранители. Треск короткой очереди Пьер не успел услышать. Обожгло мочку уха, ужалило в бок. И Пьер, не раздумывая, прыгнул в пенящуюся волну. Его счастье, что холодное утро торопило убийц. Они были убеждены, что француз сгинул в океанской пучине. А Пьер, хлебнув соленой воды, ударившись коленом об острый камень, вдруг радостно осознал, что жив, что не прошли, а только царапнули его пули, что теперь он может спастись. И он поплыл в сторону ослизлых камней, подолгу задерживая дыхание, загребая в спасительный полумрак угрюмого берега. Он прятался в воде целый день и ночью выбрался из форта.

...Мы выходим из мрачного подземелья. Пьер ведет нас к стеле, что скорбным памятником встала во дворе старого форта. Я читаю фамилии, выбитые на холодном мраморе. Пятьдесят патриотов покоятся здесь. То, что рассказывает Антон о трагической кончине этих людей, заставляет содрогнуться, замереть сердце. В бесильной ярости гитлеровские садисты замуровали в подземелье всех оставшихся в живых. Французские партизаны приняли страшную, мученическую смерть. Их останки обнаружили только после войны. Герои Сопротивления были с почестями перезахоронены на территории старого форта. А в память о русском парне, от которого гестаповцы так и не добились никаких сведений, Пьер стал с гордостью отзываться на русское имя Антон.

ЛЕВЕЕ ИСТИНЫ

Молод, шумлив и разноноден этот зал. Солнечные лучи скользят по ниспадающим локонам девушек и нечесаным бородкам парней, цепляются за вытертую, поблекшую замшу курточек и бахрому заношенных джинсов. В открытые окна плывут запахи печеных каштанов, прогретого асфальта, врывается гомон улиц большого города.

Воскресный день щедр на соблазны, а в зале все молодые, подвижные. И диву даешься, как эти экспрес-

сивные непоседы разом не срываются с места. Но ведь сидят, да еще с каким жаром дискутируют. Да, галльскому темпераменту трудновато ладить с чинным протоколом встречи. Молодому человеку невмоготу ждать запланированного слова, и потому, чуть что, выкрик из зала, страстная реплика, ядовитая перебранка. Зал, как дрожжевая масса, так и бродит, так и вскипает.

Я сочувствую председателю: утихомирить аудиторию, навести порядок совсем нелегко. И он не жалеет голоса и без конца стучит по столу фламастером.

Смотрю на юных симпатичных спорщиков. В разных колыбелях росли они и теперь живут под разными крышами. И, хоть в погоне за модой где-то одинаковы, мир им тоже видится по-разному. Вот эта, белокурая, из Гренобля. Жизнь не потчевала ее одними пряниками, и сейчас она служит продавщицей универсального магазина. Она азартно спорит с черноволосям модником из Парижа. К его фамилии предки пристегнули магическую приставку «де». Всего две буквы, а сколько стоит за ними! В обществе неравенства это всесильный пароль, это то же, что «сезам, отворись!» в сказках нашего детства.

У спорщиков разные аргументы и разная статистика. Ничего не поделаешь, такова жизнь: белокурая читает «Юманите», а графский отпрыск — поклонник буржуазной «Фигаро».

И опять постукивание фламастера, и вновь предостережение невозмутимого председателя — прошу не отвлекаться от повестки дня и не ворошить внутренние проблемы. Хотя, по совести говоря, протокольной повестки дня и не было. Просто собралась молодежь поговорить с советскими гостями, задать нам вопросы, порассказать и о себе. Уж так случилось, что дискуссия рванулась с места в карьер, и вроде забыли про нас, ради кого, собственно, и пришли.

Кажется, на минуту воцаряется тишина, но недолгую паузу тут же взрывают сбивчивые, горячие реплики из зала. В словесную баталию кидаются сразу, и каждый незамедлительно излагает политическое кредо.

Черноволосяый красавец свой экспромт выпалил на одном дыхании:

— Много дешевой демагогии. Итак, в чем наше будущее? Оно зависит от того, каким мы его захотим увидеть. Побольше терпения и выдержки. А так чуть

что — и лезем на улицу. Правительство и нашими заботами живет. Наше будущее и его волнует.

— Как бы не так, — возражает представитель Коммунистической молодежи Франции, — оно печется в первую очередь о монополиях. Толстосумов боится обидеть, — жест в сторону оппонента. — Вы хоть раз на заводе были? Знаете, сколько получает молодой рабочий?

Сдержанный председатель вставляет примиряющую реплику:

— Не надо крайностей, месье. Главное богатство страны — молодежь. И о ней думают. Конечно, не все идеально у нас, и здесь месье коммунист отчасти прав. Но сколько уже построено домов молодежи, а?

И сразу же выкрик с места:

— Это чтобы не требовали большего. Пусть, мол, веселятся, танцуют и о серьезном поменьше думают. Да и этой малости опасаются. Буржуазные газеты пишут, что дома молодежи становятся рассадниками марксизма.

— Они правы, так оно и есть, — обладатель магической приставки «де» завладел трибуной и начал пояснять: — В большую политику надо реже нос совать. Ничего, кроме раздоров, она не дает. Дома молодежи должны нас спланивать, а не раскалывать. Фильмы, игры, диспуты, танцы, а не политические схватки нам нужны. Мы авторитетная часть общества, правительство слышит наш голос и без уличных демонстраций.

Зал рокотал одобрительно и негодуяюще, взрывался аплодисментами и угрожающим шиканьем, молодежь соглашалась и спорила, бурно поддерживала одного оратора и освистывала другого.

С задних рядов резко вскинулась рука, и председатель пригласил на трибуну худенького юношу. Он без суеты протиснулся к сцене, внимательно оглядел зал, глухим голосом попросил тишины:

— Я вот что скажу. Пожить бы в том раю, что сейчас здесь нарисовали. И авторитетны мы, и слышат нас, и заботятся о молодежи. Согласен, заботятся, но смотря о какой молодежи. Для богачей папин кошелек открывает в жизнь все двери. Загляните в учебные заведения. Много там детей рабочих и крестьян? Чуть больше десяти процентов, хотя о братстве и равенстве почти двести лет говорим. А попробуй получи профессию се-

годня? Сколько молодых без квалификации вступают в жизнь, вам неведомо, месье?

Справа свистнули, захлопали крышками столов. Худенький юноша остался невозмутим. Он повернулся к несогласным и задиристо бросил:

— Может, неправду говорю? Хочешь опровергнуть?

— Старые коммунистические песни распевашь.

— А ты пропой что-нибудь новое.

— У тебя одни лозунги в голове. И все это красная пропаганда.

— Это факты, а не пропаганда, — и голос оратора вновь окреп, зазвенел непреклонной убежденностью правого человека. — Уверен, — повернулся он к спорщику, — тебе не больше восемнадцати. Утверждаешь, что мы авторитетная часть общества. Тогда почему не идешь к избирательным урнам, почему? Да не пускают нас к ним, молоды еще, говорят. В восемнадцать женись, получай автомобильные права, шагай в армию, восемнадцатилетнего привлекают к судебной ответственности, а голосовать не зовут. Разве это не так? И при чем здесь коммунистические лозунги? Для справки — ни в какой партии я не состою.

Последняя фраза развеселила зал, заставила широко улыбнуться председателя, который до этого беспокойно наблюдал за ожесточенной перепалкой двух молодых людей. Было видно, что острота, с которой развивалась дискуссия, совсем ему не по душе и теперь он рад полемическому перемирию, которое установилось в зале. Понять председателя можно: не для того пригласили советских гостей, чтобы при них выворачивали наизнанку, обсуждали внутренние проблемы, да еще с такой запальчивостью и непримиримостью.

Он близоруко и доброжелательно посматривает на нас. В его глазах немой вопрос — не хотим ли мы начать разговор? Пожимаем плечами, памятуя о бывшей договоренности — только ответы на вопросы. Он понимающе кивает нам и поднимает фламастер:

«Как и условились, сегодня поэксплуатируем советских гостей. Правда, мы о них вроде забыли, развернув свою словесную баталию, — и, уверенно забирая бразды правления расшумевшимся залом в свои руки, кратко подытожил: — Говорили здесь много дельного, но и чепухи нагородили порядком. Смысл таких собраний — искать спокойные компромиссы, а не пропове-

довать крайний экстремизм, — лукаво улыбнулся нам и шутливо закончил: — Боюсь, так напугали гостей, что второй раз и приехать к нам не захотят».

Мы улыбаемся председателю и обуздываем первые рвущиеся с языка слова, понимая, что прелюдия кончилась и наступает наш черед. Послушав экспрессивный, бурлящий страстями зал, отчетливо представляем, в каком температурном режиме пойдет вечер вопросов и ответов. Наш давний и хороший друг, боевой комсомольский вожак Доминик Видаль шепчет на ухо ободряюще: «На всякие глупые вопросы можно и не отвечать. Народец здесь собрался всякий».

Нет, право же, зачин спокойный, как на благовоспитанной академической встрече. Черноволосая девушка хочет услышать, каким представлял я мир, когда мне было восемнадцать, о чем мечтал, во что верил? И робко добавляет, что моя искренность поможет создать атмосферу доверительности на нашей встрече.

Всегда непросто вернуться в свою юность. И не только оттого, что воспоминания разбередят сердце и лишний раз напомнят о настоящем возрасте, пугает и другое -- как бы взрослый человек не откорректировал юношу, не причесал его мысли, не покрыл мальчишеские порывы и мечты рассудительностью зрелого человека.

А глаза у девушки ждущие, требовательные. Как бы воскресить в памяти нетленными те далекие годы с их неповторимым колоритом, время невозвратное и нелегкое, но до боли дорогое и близкое.

Мои восемнадцать ушли давно. И помнятся они повседневными заботами о хлебе насущном и неустроенной послевоенной юностью. Судьба нам рано выдала пропуск в мужчины и поставила на место ушедших и не вернувшихся с войны отцов. Сноровисто управляясь с мужской работой, мы все еще оставались большими детьми, по злой воле войны перескочившими в другую возрастную категорию. В скудную одежку наряжала нас юность, и самые смелые мечты не простирались дальше костюма с белой рубашкой.

Горячности и нам было не занимать. И судили мы обо всем тоже скоропалительно и категорично, как и сегодняшние наши сверстники, но, кажется, наши истины были конкретнее и понятнее. Поверженный фашизм лежал у ног моего народа, горизонт нам виделся без-

облачным, а первые тучи «холодной войны» еще только зарождались в генеральных штабах и правительственных особняках империалистов. Мои сверстники шептали нежные слова любимым, слушали соловьев и стуки собственного сердца, а то, что не было еще разносолов и деликатесов в домах, как-то мало тревожило нас. На земле было главное — желанный мир, за него сражались миллионы людей, его мучительно ждали четыре года. И логика, разум отказывались понимать, почему империалисты начали окружать плотным кольцом военных баз и аэродромов своего союзника по минувшей войне, страну, которая оплатила самый большой счет в борьбе с фашизмом.

И в этом месте мой рассказ прерывается нагловатым вопросом:

— А что понимать, месье? Просто Советский Союз захотел поработить всю Европу. Чуть бы замешкались — и Красная Армия пришагала в Париж.

— Ты и это помнишь? — ироническая реплика летит с первых рядов.

Парнишка вскакивает с места, оглаживает неухоженную бороденку и начинает пространно доказывать:

— Зачем на слове ловить? Конечно, сам я этого не знаю. Но в книгах об этом столько написано. Не будь НАТО да не держись мы жестче с Москвой, русские и на Атлантику пришли бы.

Но в первом ряду тоже не унимаются:

— А зачем русским в Париж, да еще с войной? Они к нам в гости приезжают, да и нас у себя принимают с любовью. Ну и начитался ты страхов, парень.

— Не я же придумал, политики и сейчас об этом говорят нередко.

Я слушаю перепалку двух парней и еще раз убеждаюсь, какая же причудливая политическая палитра у молодежного движения этой страны. Сколько клеветы и дезинформации обрушивает империалистическая пропаганда на молодые, неустоявшиеся умы, каким только отравленным чтивом не потчует. Думалось, что в семидесятых годах о русских казаках на парижских улицах уже не доведется услышать. Такими страхами пугали родителей этих парней в пятидесятые годы, когда злые мифы об агрессивности русских были ходовым товаром на пропагандистских рынках. Моего бородатого оппонента тогда еще не было на свете.

Наверное, самое трудное доказывать аксиомы. Поэтому что все очевидное и бесспорное не возбуждает полемического задора, ибо отсутствует сам предмет спора. Как доказать этому ошестившемуся мальчишке, что народ, проливший столько крови ради спасения всего человечества, не мог помышлять о новой войне, освобождая чужие территории, он и не думал об их приобретении.

Более двадцати миллионов человеческих жизней отдал мой великий и бескорыстный народ на алтарь Победы. Тысячи городов и сел, крупных промышленных центров были обращены в руины, разрушены и уничтожены заводы и фабрики, учебные и научно-исследовательские учреждения, навсегда погибли бесценные произведения архитектуры и искусства, созданные руками многих поколений талантливого и трудолюбивого народа. Но разве могла бесстрастная статистика измерить всю меру человеческих страданий, все те незажившие раны, которые и до сих пор кровоточат в сердцах людей. Какую мерку можно было применить к безутешному горю матерей, одиночеству вдов, к сиротскому горю. Разве хотел мой народ, перенесший самые страшные испытания в войне, ее повторения?

Мы в те годы с ужасающей ясностью осознавали, что принес бы миру фашизм, когда, содрогаюсь от гнева, подсчитывали злодеяния нацистов: руины Сталинграда и разрушенная дотла Варшава, страдания и стойкость блокадного Ленинграда, развалины Роттердама и Ковентри, трагедии Орадура и Лидице, миллионы людей, замученных в концлагерях. Страшную дань собрал фашизм с народов Европы. Разрушив ценнейшие памятники человеческого гения, он по всему континенту рассеял могилы. Надгробные обелиски встали как символы героизма и страдания, они предостережение живым — не забудьте! Память павших стучала в наши сердца, словно говоря, что не было среди жертв войны людей безымянных, все они имели имя, работу, любовь и ненависть. Помните о нас — звонят и сегодня колокола Хатыни, белорусской деревушки, жители которой от мала до велика были сожжены гитлеровцами; не допустите вандализма — взывает пепел Освенцима; не повторите ошибок, люди Европы, — предупреждают замученные в застенках гестапо.

Лишний раз убеждаешься вот в какой истине. Седе-

ют ветераны войны, уходят из жизни. Выросли их дети и уже сами стали родителями. Детский смех звенит на лужайках Гайд-парка в Лондоне, на бульварах Парижа, в старинных парках Варшавы и на аллеях Москвы. Они обязаны знать о тех тяжких муках и страданиях, которые перенесло человечество, потому что капитализм породил самую гнусную диктатуру — фашизм. Детям надо разъяснять: великому стражу Мира, Стране Советов, они обязаны победой над врагом человечества. Страшно, если с новыми поколениями будет укорачиваться память человечества.

А зал ставил перед нами новые вопросы. Длинноволосый парень в потертой куртке с бахромой держится героем, торжествующе посматривает на своих сверстников, а нам улыбается дерзко и вызывающе. На лацкане его куртки значок с изображением «великого кормчего».

Он спрашивает, почему Советская Армия не вступила в Южный Вьетнам и не обрушила бомбы на города Соединенных Штатов. Со злой ухмылочкой он излагает свои «революционные сентенции»:

— Революция должна быть перманентной. Социалистические страны могли бы напасть на врагов вьетнамского народа. Война революционизирует народные массы и обрекает на гибель империализм.

Мы не успели еще ответить на эту теоретическую крошку из троцкизма и маоизма, как чей-то задорный голос отпаривал:

— Пекин гораздо ближе к Ханюю, а что-то китайские руководители упорно помалкивали, когда американские бомбы варварски перепаживали вьетнамскую землю. Где же их крикливая революционность и что же они не вступили в бой с «бумажным тигром», о слабости которого шумят на всех мировых перекрестках?

Длинноволосый в зале не одинок. На помощь ему спешат приятели из стана ультралевых горлопанов:

— Зачем плавают советские корабли в Средиземном море?

— Почему вы заключили договор с ФРГ?

Вопросы, вопросы, вопросы... Глупые и наивные, злые и провокационные, вызревшие в неокрепших умах и вбитые в юные головы буржуазной пропагандой. Оппортунизм и предательство, обернутые революци-

онную фразеологию, иногда отравленными плевелами падают в молодые души, и экспансивный, доверчивый возраст часто поддается на словесную приманку, теряет классовый ориентир и сворачивает с революционной дороги на путь левого экстремизма и пустопорожней болтовни.

Многие буржуазные пропагандисты мечтают увести молодежь правее разума и левее истины. Но добиваются, к счастью, немногого. Ловят отдельные души, сбивают их с истинного пути трескучей левой фразой. Буржуазные идеологи очень бы хотели, чтобы бродили по европейским городам неприкаянные и обманутые молодые люди, горланили ультралевые лозунги, учиняли иногда мелкие беспорядки. Их затаенная мечта — пусть своим хулиганствующим анархизмом заблудшие юнцы мешают серьезному революционному сплочению молодежи. Они готовы так далеко увлекать их влево, чтобы они оказались на самом крайнем фланге реакции. Да только серьезно просчитываются идеологи империализма в одном: отдельные пойманные в их сети левые крикуны не определяют истинного лица молодого поколения.

Будущее страны олицетворяют совсем другие парни и девчата. Познавшие нелегкую цену труда, ежедневно проходящие школу политического воспитания на заводах и фабриках, с помощью старших наставников — коммунистов, осознающие свою пролетарскую сопричастность к будущему своей страны. Те, которые неуклонно и последовательно отстаивают классовые интересы трудящихся, чьи сердца остро и заинтересованно отзываются на чужие радости и горести.

...Всегда испытываешь некоторую неловкость, когда идешь в чужой дом. Стеснительность возникает у себя, на родине, а уж что говорить о зарубежной стране? Мы отговариваемся как можем. Но Поль, этот импульсивный и симпатичный юноша, настойчив и упрям. Во-первых, он твердо пообещал своему дяде привести нас в дом, во-вторых, мы познакомимся с его товарищами.

Нам очень хочется пожать руку его дядюшке, который трудится на причалах Сены, потолковать со сверстниками юноши о житье-бытье. Но смущает одно:

считается, что французы чувствуют себя уютнее с гостями в кафе или ресторане, нежели в собственных стенах.

Поль залиvisto хохочет и весело опровергает наш последний аргумент:

— Такой церемониал для родовитых людей, может, что и значит, а для нас истинные друзья — самые желанные гости в доме.

Дядюшке Габриэлю за шестьдесят. Он сутуловат, широк в кости, размахист в движениях. По иссиня-черной шевелюре годы протянули серебряные нити. Глаза пытливые, открытые. Неторопливо разглядывает нас, обстоятельно примеривается к разговору. Ничего не значащие реплики о погоде и самочувствии явно тяготят его, и он быстро сминает процедуру знакомства. Пожимаем руки парням и девчатам, собравшимся в квартире дядюшки Габриэля. Завязывается непринужденный и открытый разговор, в котором нет места недомолвкам, завуалированным иносказаниям. С удивлением узнаем, что в гости к старому коммунисту и его племяннику пришли не только комсомолы — за столом сидят молодые католики и голлисты, ребята из Конвента республиканских институтов и Союза молодых за прогресс.

Ребята посвящают нас в свои дела, охотно рассказывают об удачах и трудностях в молодежном движении страны.

Мы говорим, что несколько дней назад встречались с делегацией Демократической Республики Вьетнам на парижских переговорах, рассказываем, насколько заинтересованно реагирует советская молодежь на все события, которые происходят в предместье французской столицы.

Порывистая девушка, представительница Союза коммунистической молодежи Франции, горячо поддерживает разговор.

— Наша организация считает, что агрессор должен немедленно прекратить разбой во Вьетнаме. Сейчас нет главнее для нас дела, чем прекращение войны в Индокитае. И мы не сидим сложа руки. Молодежь выходит на массовые демонстрации протеста, пикетирует американское посольство, собирает деньги для нужд Вьетнама. Только за один день мы собрали десять миллионов старых франков.

Ее поддерживает застенчивый юноша, который говорит тихо, но убежденно:

— Нашим недругам очень бы хотелось расколоть молодежное движение, развести нас по фракциям и группировкам. Но мы знаем, что сила наша в единстве. Ведь умеем же мы спланироваться, когда требуем освобождения Анджелы Дэвис или возвращения арабских земель. Вот я и думаю, что нам следует крепить контакты и в решении внутренних проблем страны. И обязательно налаживать настоящую дружбу с молодежью Советского Союза.

Высокий статный парень объясняет, что не входит в какую-либо организацию. Пока присматривается и делает выбор. Ему нравятся комсомольцы за честную и четкую программу, что-то импонирует и в лозунгах молодых радикалов. Он хотел бы дружить с молодежью разных стран.

— Теперь я убежден в одном: от моей активности и действия тоже зависит благополучие родной страны. И не всему, что пишет печать монополий, я теперь верю. Нужно давать отпор всем антисоветским выпадам. Они на руку только реакционерам.

Разные ребята собрались в квартире дядюшки Габриэля. Но роднит их одно — честный поиск истины, горячее желание дружить со своими сверстниками из социалистического лагеря, конкретными делами творить лучшее будущее. Они высказывают пожелание чаще встречаться с советскими людьми, им хочется поработать на наших молодежных стройках, они сетуют на то, что мало еще возможностей у них изучать русский язык.

Они не голословны и не крикливы. Своими повседневными, не всегда броскими на первый взгляд делами эти ребята тоже помогают выковывать взаимопонимание и дружбу, в чем так нуждается наш единый и старый Европейский континент.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Я хорошо понимаю, что ситуация требует степенности и серьезной чинности, но и совладать с собой нелегко. Все-таки первый раз находишься в мэрии, которой руководит коммунист, да и о «красном поясе» французской столицы наслышан немало. И потому

вполне простительна обостренная любознательность ко всему происходящему в зале.

Еще и еще вглядываюсь в лицо мэра. Порывистый и приветливый, он всем своим видом спорит с возрастом. Ну о каких семидесяти может идти речь, если так лучисты глаза, такая юношеская выправка и такой неистребимый азарт к жизни у этого человека. Видимо, ему в тягость протокольная обстановка первых минут — этикет обязывает с преувеличенным вниманием выслушивать приветственные речи. Крупные пальцы рабочего человека нетерпеливо перебирают лацканы пиджака и ощупывают ленту Почетного легиона. Но должность приучила и к терпению: соблюдая вековой ритуал, мэр покорно и чуть склонив набок поседевшую голову выслушивает затянувшуюся здравицу.

Все-таки чудная и непривычная церемония происходит на наших глазах. Теплые слова в адрес коммуниста говорит представитель большого капитала. Трудно знать, что лежит на душе у оратора, но слова он произносит сердечные, всем своим видом выражая уважение главе небольшого городка. Один за другим берут слово и другие именитые гости, и речи их доброжелательны и, как положено в подобных случаях, подчеркнута торжественны. Мэру сегодня исполняется семьдесят лет, и вот уже почти три десятилетия жители избирают его главой одного из пригородов французской столицы.

Он выслушивает здравицы с торжественной серьезностью, и только вдруг мелькнувшая лукавинка в его глазах выдает неустанную работу мысли. Смешинки в глазах вспыхивают в те моменты, когда очередной оратор, видимо, на секунду забывает о своей классовой причастности и чересчур щедро расточает комплименты юбиляру-коммунисту.

Раймон на своем веку перевидал немало буржуазных златоустов. И он безошибочным пролетарским чутьем фильтрует сказанное, отбрасывая словесную шелуху. Мэр слишком хорошо знает истинную цену словам и делам. Как красиво говорит о национальном взаимопонимании и социальной гармонии уважаемый лысеющий адвокат. Говорит вдохновенно, рисуя идиллическую атмосферу, которая сложилась в работе мэрии под руководством Раймона. Но всего три дня назад, когда решался вопрос о том, чтобы чуть приструнить

одну частную фирму, речи адвоката были совсем другими. Он не пел дифирамбов мэру, а со всем ораторским пылом приписывал ему бог знает какие грехи. Раймон хорошо понимал причины его злого красноречия: затрагивая фирму и требуя с нее солидной компенсации за отравленный водоем, мэрия была и по карману адвоката — он ведет финансовые дела этой фирмы.

Официальная церемония, затянувшиеся речи наконец заканчиваются, и парадный зал мэрии заполняется радостным гулом. Раймон с бокалом шампанского переходит от одной группы к другой, и везде, где он появляется, не смолкают смех и шутки. Даже классовая отчужденность многих гостей не в состоянии побороть человеческого обаяния, которое исходит от мэра. Он находчив, остроумен, и острое слово ему очень по душе. Словесные пикировки, возникающие при его появлении, он принимает охотно, и не один язвительный собеседник, сраженный его сарказмом, замолкает.

Молодой человек, явно рисуясь перед окружившими его элегантными дамами, преувеличенно громко рассказывает о том, как благосклонна была к нему рулетка в Монте-Карло.

Увидел подходившего к их группе мэра и с тонко рассчитанной иронией закончил монолог:

— Только дружок из Руана сочувствовал мне. И все допытывался, как я, бедный, живу под властью коммунистической мэрии. Интересовался очень, не стал ли я уже коммунистом.

Раймон, не раздумывая, сразу же отпарировал молодому щеголю:

— Зря беспокоится ваш друг. В коммунисты вам еще рано, сознание отстает. Не примут в партию, конфуза не оберешься. Так что повремените, мой друг.

— Я рассчитывал на большую любезность, господин мэр.

— Compliments побережем дамам, — и звон хрустала нежным аккомпанементом закончил мимолетный диалог.

Проводив последних гостей, Раймон хлопотливо рассаживает нас за небольшим, по-домашнему уютным столиком. Шумно отдувается, грузно проминает кресло.

— Ничего не поделаешь — должность такая. Разный народ собирается здесь. Половина сегодняшних гостей спит и во сне видит, как бы выпихнуть меня из кресла мэра. А слова, что ж, слова — это юбилейный антураж...

Лицо Раймона вновь оживает, лучистые глаза теплеют:

— Вечером соберутся друзья. С кем многое пережито. Не только мои сверстники, молодые ребята хотят поздравить. Да и о делах надо поговорить. Юбилей отшумит, а поутру встанут новые заботы.

И, как бы предугадывая наш вопрос, Раймон неторопливо рассказывает:

— Многое приходится пробивать с трудом. Практически устойчивое большинство наше. Особенно теперь, когда с социалистами выработана общая платформа. Но сколько невидимых препон создают наши противники. Только бы провалить наши решения, где-то затормозить, подольше задержать, чем-то скомпрометировать. Вот, к примеру, нашумевшая история с городской больницей. Наши недруги долго чинили всякие проволочки. Дело ясное — рука не поднималась обложить своего собрата-предпринимателя дополнительным налогом. Тогда и социалисты качались: день туда, день сюда. Наконец уломали оппонентов и большинством голосов одобрили решение. Вот тогда и началась несусветная кутерьма. Что? Ну вам, друзья, нелегко понять, как это можно делать в условиях буржуазного государства.

Раймон невесело усмехнулся и начал загибать свои крупные пальцы:

— Ведь больница строилась для рабочих. И порядки в ней намечались другие. А это опасный прецедент. Первым делом тихий саботаж устроила подрядившаяся фирма. Год тянула с проектом. Когда пришла документация, некоторые расчеты оказались экономически необоснованными. Фирма уплатила нам неустойку. А потом эта чехарда с поставками медицинского оборудования. Но мы жизненную школу прошли хорошую, и бюрократические орешки умеем раскусывать. Построили больницу в пику скептикам и маловерам. Да еще какую — из других городов приезжают смотреть.

Вино шумно заплескалось в бокалах. Голос Раймона опять стал звонким и добродушно-веселым:

— Старость и говорливость — куда от них денешь-

ся. Все о себе да о наших проблемах. Совсем про дорогих гостей забыл. Что видели у нас, как принимают французы, куда лежат ваши маршруты?

Мы рассказываем Раймону о встречах с молодежью Парижа, об интересном симпозиуме, в котором принимали участие, о наших впечатлениях и планах. Говорим, что среди множества проблем, которыми интересуемся, очень важное место занимает вопрос о боевом содружестве советских и французских граждан в минувшей войне.

Раймон глубоко задумывается, и в эти секунды его возраст отчетливо говорит за себя. Откуда-то на лоб набегают морщины, фигура становится грузнее, глаза гаснут, подвижные до сих пор руки замирают на столе:

— Героическое и страшное время, и вспоминать о нем нелегко. Сколько прекрасных жизней отняла война! Я тоже потерял немало друзей.

Мы знаем, что Раймон был активным участником парижского восстания и на его счету немало боевых и дерзких дел. Начинаем расспрашивать, а он смущенно отшучивается, уверяя нас, что ничего героического не совершал, а как и все коммунисты, дрался за свободную Францию.

Потом обрадованно отводит наши вопросы и начинает развивать, видимо, только что промелькнувшую в его голове мысль:

— Это очень кстати, что вы будете в долине Луары. Места совершенно сказочные. Заверните в Амбуаз. Как-никак город-музей, бывшая резиденция французских королей, последний приют великого Леонардо да Винчи. И самое главное, навестите моего друга Франсуа. В одном отряде дрались с ним, да и в парижском подполье рука об руку работали. Он будет несказанно рад вашему приезду.

И опять в Раймона вселяется энергия и порывистость тридцатилетнего юноши. Он торопливо записывает в наши блокноты адрес своего друга, сбивчиво рассказывает биографию Франсуа. Потом срочно заказывает телефонный разговор. Пронзительный звонок дает быструю связь. Франсуа нет дома, и на том конце провода его жена. Телефонная трубка рокочет, как горный ручей на перекатах, и растерянный Раймон никак не может вклиниться в скороговорку истинной францу-

женки. Как только она узнала о причине телефонного звонка, так сразу же бесповоротно завладела инициативой. Никаких отказов. Мы должны непременно побывать у них. Нас ждут не только они с мужем, с нами хотят встретиться их друзья, активисты общества «Франция — СССР». Французскому гиду надо растолковать, что для современного транспорта сотня километров крюку — сущий пустяк.

Раймон тщетно подкарауливает паузу в темпераментном монологе собеседницы. Что-то успевает ей сказать. И сразу же щелкают разъединительные гудки.

Раймон беспомощно смеется:

— Не только в словах бойка Даниэль. В отряде, пожалуй, не было более смелой и дерзкой девчонки, — и огорченно закончил: — Эх, махнуть бы с вами к Франсуа, да больно уж много дел.

...Весна на исходе. Яркие наряды меняет на более спокойные, но не менее очаровательные краски.

Наш автобус катится по сказочной долине Луары, с ее древними замками и невесть когда построенными мостами; мелькает черепица уютных деревенок, плывут мимо городки, будто шагнувшие из средневековья, кружатся в медленном хороводе приглашенные столетиями холмы в зеленых одеяниях. Овечьи стада на пологих склонах, виноградники, убегающие к самому горизонту, шпили соборов, зубцы некогда грозных крепостных бастионов — какой-то немой фильм из давно минувших времен.

Часто останавливаемся на деревенских улочках, и любопытная толпа мигом окружает автобус. Строгие священники и степенные хозяева окрестных ферм задают вопросы обстоятельные, житейские. Франтоватые сельские повесы щеголяют политической осведомленностью, застенчивые крестьянки разглядывают гостей и вопросов не задают.

После парижской улицы с ее шумной и деловитой, озабоченной и гуляющей толпой, где мирно уживаются мини и макси, брючные пары и мексиканские пончо, взъерошенные патлы хиппи и гладкие проборы конторских служащих, распущенные локоны и мальчишеские стрижки, удивительно и непривычно видеть любознательную, но по-деревенски сдержанную публику. Эта Франция смотрит на тебя другими глазами, не менее приветливыми и доброжелательными, но более глубо-

кими и любопытными. Для Парижа, привыкшего ко всему, иностранец не в диковинку, и он доброжелателен и равнодушен к нему — на улицах столицы разноязыкая речь звучит каждый день, а здесь, в стороне от столичного суматошного пульса, интерес к чужестранцам более обостренный, какой-то наивно естественный.

Собеседники недовольны, если говоришь кратко; им подавай подробности, а про нашу жизнь рассказывай неторопливо. В сельских жителях мало полемической задиристости парижских оппонентов; их вопросы и аргументы редко черпаются из газетных сообщений, крестьяне ищут истину сами, медленно, основательно и бесповоротно.

Пожилой фермер попыхивает трубочкой и дотошно расспрашивает о колхозной жизни в нашей стране.

Диалог остается незаконченным — фермер откупоривает бутылки и начинает расспрашивать о наших сортах вин, о местах, где растет виноград. Ответы слушает внимательно, если что не понимает, то обязательно переспрашивает.

Разговор незаметно перекидывается на прошлое. Наш новый знакомый рассказывает, как воевал он в годы оккупации в рядах «маки» и сколько крови попортил их отряд проклятым бошам:

— Да что говорить, воевали мы неплохо. Помню сырую октябрьскую ночь. Выпало мне часовым заступить. Лежу за камнем, тишину прослушиваю. Вроде почудилось — кто-то стонет. Затаился, весь в слух ушел. И вправду человек близко. С поста не рискнул уходить, командира по связи вызвал. Подобрали парня, на чужом языке бредит. Притащили к себе. Страшно смотреть — кожа да кости. Еле выходили парня. Русский, из плена бежал. Белокурый такой, симпатичный, — пристально оглядел нас, жадно затаился и раздумчиво протянул:

— Померещилось. Нет среди вас похожих. Поначалу вроде показалось. Тот и выше, и в кости шире. А уж дерзости был... — Глаза фермера задумчиво разглядывали синеющую вершину. Тягостная тишина повисла за столом.

Фермер шумно вздохнул, наполнил бокалы. Не чкаясь, молча выпили.

В автобусе сидели какие-то притихшие. Каждый, видимо, думал, что какая же долгая у войны память. Она

глядит на тебя состарившимися одинокими женщинами, краснозвездными обелисками на родной земле и вдруг стучится в сердце вдали от милой Отчизны, здесь, на далекой чужбине.

Сиреневые сумерки вползали в просторную долину, когда наш автобус начал петлять по узким улочкам маленького городка. На фоне темнеющего неба мрачной громадой высился королевский дворец, зубцы сторожевых башен караулили вечернюю тишину, уставшие туристы молча стекались к автомобильной стоянке. Покой и умиротворенность плавали в средневековых улочках. Хотелось верить, что за плотно закрытыми жалюзи маленьких домишек и коттеджей спокойно сумерничают уставшие горожане, что тревоги и беды сегодняшнего дня обходят стороной эти жилища, столько вечерней безмятежности растворилось в сизой границе дня и ночи.

Дверь небольшого коттеджа — настезь, а на пороге нас встречает ладно сбитый, крепкий в своей мужской статности Франсуа. На минуту опоздала Даниэль, и потому знакомство начинается с хозяина:

— Представляю, что наговорил обо мне Раймон. Его послушать, так выходит, что я был самым неуловимым командиром во всем Сопротивлении, — весело рассмеялся, но фразу закончить не успел — в прихожую шумно влетела Даниэль.

Градом посыпались слова:

— Ах ты, старый хитрец. опередил все-таки. Два часа не спускаю с улицы глаз, но стоило на минуту отлучиться, и вот тебе раз — проморгала, — и без пауз, не дав нам оглядеться, потащила в дом, приговаривая: — Индейка стынет, друзья вас ждут...

Трудно сразу запомнить имена и лица. Даниэль знакомит быстро, каждому из собравшихся в ее доме дает краткие и веселые аттестации. Гости не остаются в долгу.

Франсуа с трудом вступает в права хозяина, неимоверными усилиями гасит разноголосицу:

— В эти майские дни я поднимаю первый бокал за нашу победу. За тех, кто сражался с общим врагом, кто разгромил фашизм.

Торжественное молчание повисло в гостиной и только слышалось приглушенное дыхание собравшихся здесь, в общем-то, уже пожилых людей. Франсуа обвел

грустными глазами своих друзей, задумчиво посмотрел на нас. Его взгляд перехватил мужчина, сидевший на другом конце стола, и решительно кивнул головой:

— Конечно, командир. Советским друзьям надо обязательно рассказать. Уверен, что не про всех своих геройских парней знает их родина.

Франсуа раздумчиво потирает виски, собирается с мыслями. Нелегко увести память в дни тридцатилетней давности, воскресить в деталях давно ушедшее, во многом невозвратное, если тебе за шестьдесят и дымка времени затушевала ту далекую пору. Глухой голос Франсуа ломает затянувшуюся и грустную паузу:

— Мы давно собирались напасть на карьер, где работали пленные. Были данные, что немцы строят секретный объект, а как только закончат работу, так сразу же уничтожат подневольных свидетелей. Предстоящую операцию прикидывали не раз и не два — уж свои объекты фашисты умели охранять. Сначала все пошло удачно. Напали внезапно.

...Когда в карьере началась стрельба, Андрей не сразу нашелся. Подхватил выпавшую из рук кирку и грохнулся за мшистый валун. Приподнял голову, огляделся. И только тут ликующе осознал — гитлеровцев атакуют французские партизаны. Решение пришло мгновенное, как в скоротечном бою. Проворно пополз к соседним камням, откуда лаял ручной пулемет охранника. Враг укрылся за крупными валунами и сам, недосыгаемый для партизанских пуль, свинцовым дождем прижимал к земле наступающих. Он не давал французам подняться и сделать последний бросок. Промедление грозило непоправимой бедой — с минуты на минуту на шум стрельбы подойдет подкрепление. Фашист не оборачивался назад и смерть почувствовал в последнее мгновение. Увидев пленного с киркой в руке, судорожно дернул кобуру, но дрожащие пальцы запутались в кнопке. Кирка опередила пистолетный выстрел — Франсуа выразительно ударил рукой по столу. Улыбнулся, перевел дух. — Вот так и попал к нам Андрей. К нему привыкли быстро. По душе пришелся нашим ребятам храбрый и веселый русский парень. Чуть покреп, поправился, и стали брать его на боевые операции.

Прошло полгода, а за Андреем числилось немало отчаянных, неслыханно дерзких подвигов. В сочельник, когда перепившиеся оккупанты в парадном зале мэрии

горланили свои марши, дубовая дверь стремительно распахнулась. Враз протрезвевшие и насмерть перепуганные гитлеровцы дружно вскинули руки. Напарник Андрея быстро скользнул к сейфу. Комендант услужливо вывернул карманы — и на столе звякнула связка ключей. Взять деньги, служебные бланки и документы было делом нескольких минут. Быстро освободили из подвалов заложников. И напоследок устроили рождественский фейерверк. Когда подоспевшие на помощь гестаповцы прикатили в городок, партизан не было и в помине, — бывший командир усмехнулся. — Правда, тогда я изрядно всыпал Андрею за легкомыслие и самоуверенность. Дерзкий налет мог обернуться гибелью двух смельчаков. Вот верите, сам отчитываю русского парня, а втайне дивлюсь его дерзкой отваге.

...Андрей краснел от нотации командира, признавая его правоту и свою бесшабашность, но больше конфузился от другого. В группе партизан стояла девушка, недавно пришедшая в отряд, и вместе со всеми добродушно смеялась. Он еще плохо понимал чужой язык. Но интонации девичьих реплик казались язвительными и недобрыми. Андрей злился, старался не смотреть в ее сторону. Но судьба распорядилась по-своему.

В небольшом отряде секретов не было — все на виду. Андрей часами слушал чужой язык и украдкой поглядывал на Елену. Они встретились дня через три около командирской землянки. Андрей свернул с тропинки, пропуская девушку, и стал безразлично смотреть в сторону. Но она явно не торопилась. Лично отбросила на плечи черные локоны, ласково стрельнула глазами:

— Поговорить бы надо, Анри. А ты все дичишься, «месяе сочельник», — и серебряный смех девушки раскатился по тропинке.

А потом был последний бой, когда смертельная петля карателей наглухо захлестнулась на шее отряда, когда кто-то должен был полечь в горах, чтобы спасти других.

Франсуа глухо закашлялся, тяжело вздохнул:

— Пожалуй, в этот день мне предстояло принять самое трудное решение. Я никого не принуждал, я ждал добровольцев. Молча обходил строй и вглядывался в дорогие лица. Несколько человек сломали шеренгу. Андрей сделал шаг вперед, когда я поравнялся с ним. Я бросил взгляд в сторону Елены: через несколько ме-

сяцев она станет матерью. Совесть подсказывала — я не имею права посылать на верную смерть молодого русского. Властным голосом приказал Андрею встать в строй. Тот не шелохнулся и только строже подтянулся. На ломаном французском сказал: «Я неплохой пулеметчик, командир. Вы говорили о добровольцах!» — И сделал еще один шаг мне навстречу.

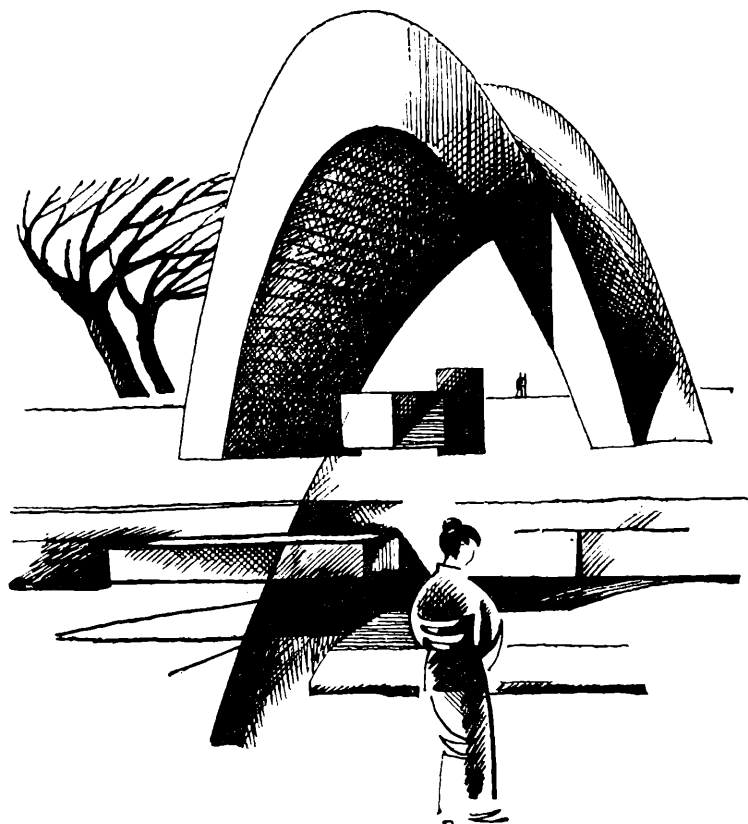
Бывший командир надолго умолк, и никто не решался прервать молчание. Мужчины делали глубокие затяжки, а женщины украдкой вытирали тихие слезы. Даниэль неслышно наполнила бокалы. Франсуа приподнялся, за ним медленно встали все собравшиеся:

— Мы прорывались лесистой седловиной и долго слышали, как в яростном гневном захлебывался пулемет Андрея. Много наших полегло в тот день, но кое-кто вырвался из смертельного кольца. Уже позднее крестьяне рассказали, что контуженный Андрей был брошен в гестаповские застенки. Ну а там конец один!..

О многом говорилось в тот памятный вечер. Французские друзья рассказывали о работе местного отделения общества «Франция — СССР», о растущих симпатиях простых французов к нашей стране и к нашему народу. О том, что тянутся к активной деятельности молодые парни и девчата и все чаще встречаются со своими советскими сверстниками.

В гостях у друзей радостно думалось вот о чем: что глубоки и обильно политы кровью исторические корни дружбы и взаимной симпатии двух великих народов. За очень короткую поездку по стране мы услышали немало волнующих историй о советских людях, беззаветно дравшихся с фашизмом в рядах французского Сопротивления. С гордостью и радостью мы убеждались, что советские парни были героями везде, куда бы ни забрасывала их нелегкая военная судьба. Что наши народы рука об руку выступали против общего врага в прошлом и очень большую роль в охране мира могут сыграть в будущем.

1971 год



ПОКЛОНЫ И ТРАНЗИСТОРЫ

ШЕСТОЕ АВГУСТА, ВОСЕМЬ ПЯТНАДЦАТЬ УТРА...

Оплавленные циферблаты, скрюченные стрелки остановили в музее Хиросимы то роковое время, когда были включены недобрые часы термоядерной эры.

В городском парке гранитная глыба охраняет покой мертвых. Живые успокаивают погибших — «спите спокойно, это больше не повторится».

Но мертвым не нужны слова. Когда разломилось небо и вспыхнули тысячи солнц, время для них оста-

новились. Они были испепелены в первый же миг: дряхлые старики, женщины, малые дети и тот безымянный человек, чья тень отпечаталась на ступенях торговой палаты.

Сегодня над Хиросимой голубое небо, умиротворенное и тихое. Над городом висит прозрачная дымка. Она преломляет солнечные лучи, и сверху город кажется зыбким, каким-то нереальным. Он будто покачивается в прогретом мареве, и мне чудится, что он все еще не устоялся после страшного утра, что не может земная твердь Хиросимы обрести устойчивость.

Наверное, так кажется только с высоты. А внизу зеленеют городские парки, воркуют голуби, красуются новые дома, на оживленных улицах кипит повседневная трудовая жизнь вставшего из пепла города.

Будто и не было здесь утра ужасов, не взрывалась бомба с циничным названием «Малыш», не горели люди, и вообще все это из области иллюзий, жутких видений, исторических миражей, что ли.

Еще раз всматриваешься в респектабельную, преуспевающую Хиросиму. Искореженный остов торговой палаты, скрюченная арматура на фоне голубого неба. На гранитной бомбе — памятник японской девочке Садако Сасаки. На вытянутых руках у нее журавлик — птица из японской легенды. Садако Сасаки умерла от лучевой болезни. Дети всего мира присылают к памятнику японской девочки бумажных журавликов. Шелестят на ветру бумажные журавлики. Садако Сасаки так хотела жить и так верила в добрую птицу из японской легенды.

На улице нестерпимая духота. Изнуряющий зной загоняет нас в крохотный бар, и кружка холодного пива «Саппоро» кажется блаженством. Мерно урчит старенький «кондишен», проворно суетится молоденькая барменша. Мы только что вышли из музея Хиросимы. Посмотрели трагические экспонаты, выслушали бесстрастный радиорассказ о давней трагедии.

И понятно, что говорим об увиденном, напомнившем о страшном августовском утре. Барменша прислушивается к нашей беседе. Она совсем не похожа на традиционную японку в кимоно, ее мини-юбка не уступает европейским стандартам. Округлые черные глаза — тут уж налицо косметическая операция «а ля американка» — глядят с вызовом. Задиристая реплика ад-

ресована нам: «Сколько можно ругать американцев? Они разрушили город, но они его и восстановили».

Мы растерялись. И такой вопрос мы услышали в городе, пережившем атомный ужас, в городе, где радиация до сих пор собирает свою страшную жатву!

Барменша родилась после войны. И трагедия сорок пятого для нее история. Мы слушаем ее беззаботную болтовню, и удивление не покидает нас. Ведь, наверное, по учебникам зубрила историю войны, но вот о ядерной топке, вспыхнувшей в ее городе, знает понаслышке.

Неужели она не делала бумажных журавликов и никогда не встречала в парке Мира пожилого, пораженного недугом лучевой болезни, грустного Исао-сан?

Мы долго сидели с ним на месте бывшего эпицентра взрыва. Исао-сан говорил тихо, и оттого слова были особенно четкими в своей страшной справедливости. Моя фантазия никак не справлялась с рассказом очевидца: в детстве я знал разрывы фугасных и зажигательных бомб, но перед кошмаром атомной воображение становилось в тупик.

...Исао-сан в ту ночь плохо спал. Радикулит под утро не давал покоя. Чтобы отвлечься от боли, Исао-сан думал о своем житье-бытье. Он, маленький человек, рядовой конторщик в солидной фирме, с тревогой заглядывал в свое будущее. Война затягивается, владельцы фирмы экономят на всем. Дойдет до увольнения — Исао-сан окажется в числе первых. Начальник отдела не скрывает антипатии к начитанному конторщику. Исао-сан не ахти уж как силен в политике, но и он чувствует — война проиграна. На Западе рухнула Германия, Советский Союз вот-вот объявит войну Японии, и на что надеяться Стране восходящего солнца?

Исао-сан смотрит на часы. Без нескольких минут пять. Он тихоенько встает — пусть жена еще поспит — и, взяв лейку, идет в крошечный садик, зеленым ожерельем оцепивший невзрачную хижину.

...То же время, то же утро. В сотнях километров от Хиросимы. Душная ночь не принесла на остров прохлады. Пусть будет проклят этот Тиниан, забытый богом островок, куда загнали его, Неда, и где так непонятно и таинственно. Поначалу все было ясно: они, морские пехотинцы, готовятся к вторжению в Токийский залив, чтобы штурмовать японскую столицу.

Чуждачества начались в последние недели. Его поставили в какое-то специальное охранение. Несколько зданий окружили колючей проволокой. Все было так таинственно, что даже их командир не знал, что творится за толстыми стенами. Понаехали какие-то штатские, колдуют там днем и ночью, а стерегут их пуще генералов.

Нед следит, как большое солнце выкатывается из океанской пучины, заливает водную гладь неровным, фосфоресцирующим светом, наблюдает, как выскакивают из глубин причудливые рыбы, и ему кажется странным, что где-то еще воюют, льется кровь — таким покоем все дышит вокруг. Но нет, зашевелились и в секретном ангаре. Выкатили самолет и что-то прилаживают к нему. О, и еще новость — дополнительное охранение около самолета.

Солдат соображает: куда спозаранку собрались? Хотя вчера Эдди шепнул ему, что те, за «колючкой», важные птицы. Шушукуются морские пехотинцы, вроде что-то прослышали, а только ничего не знают.

Рев двигателей оборвал думы Неда. Он смотрит, как нервно вздрагивает машина, наращивает обороты, как церемонножимают руки летчикам, что-то говорят им на прощание. Да что ему до этого! Осталось два часа, и его сменят.

...Исао-сан управился в садике, посидел в задумчивости над крохотной сосенкой, подмел дорожки. Был уже восьмой час, а жена еще не проснулась. Он, пожалуй, завтрак приготовит сам. Благо есть чем порадовать Китико — вчера он дешево купил рыбу. Он разжег очаг и начал хлопотать по хозяйству. Из домика послышался голос жены. Ага, уже встала? Он вошел в комнату, пожелал жене доброго утра и начал накрывать на стол. Глаза Китико расширились — такое она видела не часто.

И удивительно хорошее настроение завладело ею сразу.

Они ели вкусную рыбу и говорили о детях. Месяц назад удалось увести их в деревню, к дальнему родственнику. А Китико только вчера навестила малышей. Конечно, им там хорошо. Здесь что ни день, то американские самолеты, а в деревне тишь.

Исао-сан слушает рассказ жены, а украдкой нет-нет

да и поглядывает на часы. Уже четверть девятого, а в двадцать минут он должен уйти из дому, только выпьет чай — и на работу. Конторщик вышел в садик, снял чайник с очага, повернулся и шагнул к дому.

...Исао-сан в первый миг не понял, что произошло. Ему показалось, что взорвалось солнце и раскаленные осколки залили ему спину и руки. Нестерпимым жаром горели шея и руки.

Он обхватил ладонями шею, защищаясь от вторичного ожога, и вбежал в дом. Исао успел посмотреть в сторону города. Там творилось что-то кошмарное. Над долиной поднимался гигантский столб дыма, ни на что не похожий и оттого еще более ужасный. Плакали дети, кричали мужчины, голосили женщины. Исао, не отнимая от шеи рук, упал на пол. Искаженное страхом лицо жены, ходящая ходуном мебель, нечеловеческие крики и стенания улицы, мрак, закрывший окна, — все это было концом света.

...Часы показывали восемь пятнадцать утра. В это время морской пехотинец Нед сменился с поста и зашагал в казарму. Он, рядовой армии США, ничего не знал о трагедии этого утра, которое для сотен тысяч людей стало последним.

Исао-сан считает, что ему повезло: он находился далеко от эпицентра взрыва. Его не испепелили, его обожгли. А потом десятки лет госпитальная койка, многолетнее балансирование между жизнью и смертью.

Я смотрю на эти руки, исполосованные шрамами, с которых не раз слезала кожа, на розоватую неживую шею. И снова вижу бронзовый загар, атласную кожу на стройной шейке смазливой барменши. Неужели она не встречалась с этим человеком, неужели не видела в музее обгоревшую детскую одежду?

...Опять порывами налетает ветер и шелестят грустным шепотом бумажные журавлики, в чудодейственность которых так верила умершая Садако Сасаки.

До бара двадцатилетней японки отсюда недалеко.

Но шепот бумажных журавликов не может одолеть бравурных звуков мощного проигрывателя, который недавно установили в баре. Но ветер вновь и вновь перебирает бумажные журавлики. Видно, боится короткой человеческой памяти.

ГРУСТНАЯ УЛЫБКА КАМИКАДЗЕ

Пароходик был маленький и старый — даже сквозь свежую краску проглядывали мелкие трещины. Как морщины у нарумяненной пожилой женщины. У нарядных пирсов города Кобе красовались корабли-гиганты, океанские чемпионы. На их фоне наш пароходик «Янтарь» выглядел замухрышкой, попавшей на ослепительный бал красавцев кораблей.

Океанские волны, видимо, не мяли ему бока. Он добросовестно сует из Кобе на остров Сикоку, из года в год доставляя почту и пассажиров. Он ходит по маршруту, который бывалые моряки ехидно называют «малым каботажем по внутренней луже».

Наш замухрышка и сам стеснялся своего неказистого вида. Он притулился бочком к пирсу, неуклюже осев на левый борт, и торопился покинуть чуждое ему общество нарядных судов. Суетился на палубе боцман, от малых оборотов вздрагивал корпус вконец разболтанной посудыны.

Из трубы вырвался сиплый гудок, и наш ковчег начал медленно выбираться на рейд. Мы шли сквозь строй небоскребов — такими высокими казались корабли, сбившиеся в гавани. Причалы, пакгаузы, набережные в медленном хороводе поплыли назад.

Мы испытываем симпатию к пережившему свое время пароходнику. Он слишком давно родился и слишком много работал, чтобы мог тягаться с этими баловнями электронного десятилетия. Он приписан к Осаке, городу небоскребов и гигантских заводов, куда, как шальной, приносится по эстакаде из Токио суперскоростной экспресс, где индустрия совсем задавила маленького человечка. И каждый день уходит «Янтарь» на юг, к вечнозеленым берегам острова Сикоку, в Японию патриархальной старины, самурайских замков, в край рыбаков и простодушных людей.

И сегодня пассажиры на нем обычные. В широкополых шляпах крестьяне, в тщательно разглаженных рубашках черноволосые юноши, в ситцевых кимоно и деревянных гэта симпатичные девушки.

Нам повезло — мы плывем на остров, сохранивший в относительной целостности лицо старой Японии.

Угомонилась палуба, и, чинно рассевшись в кружок, ближайшая к нам группа начинает дорожную трапезу.

Запасливые крестьяне вынимают из плетеных корзин касивамоти — сладкие рисовые лепешки, завернутые в дубовые листья, и принимаются за еду. Бесстрастные лица, неторопливая, полная достоинства и степенности беседа. В центре круга сидит пожилой мужчина, и говорящие все больше обращаются к нему. Трудно по виду японца определить, сколько ему лет. Поджарый, робкая седина в смоляных волосах. Сухая желтоватая кожа, широкие скулы. Глаза острые и удивительно быстрые. Они подолгу не задерживаются ни на ком. Чиркнут по лицу, прищурятся и, смотришь, запрыгали дальше. Он говорит медленно, но резко жестикулирует руками. И кажется, что слова опаздывают, отстают от быстрого бега его мыслей.

Его глаза все чаще и чаще останавливаются на нашей группе. Он уже заинтересованно прислушивается к нашей беседе. Говорим мы громко, чувства свои выражаем шумно. Кто-то из наших, не в силах сдержать эмоции, воскликнул:

— Красотища-то, черт побери!

Скуластый японец быстро повернулся. И словно искаженное эхо, повторил вслух: «Черт побери». Широко улыбаясь, японец робко направляется к нам. Он осторожно пожимает наши руки и, как пароль, повторяет: «Братушки, братушки».

Мы несколько смущены таким поворотом событий. Крестьяне, привстав с палубы, заинтересованно наблюдают за нами. А наш новый знакомый говорит и говорит. Из его торопливой речи нам только понятны часто повторяющиеся слова — Настя и Чита. Мы выжидательно смотрим на нашу переводчицу. Она тоже не сразу улавливает смысл. Ага, вот теперь понятно. Зовут нашего нового знакомого Наката. Он был в России, а сейчас живет на Сикоку. Он зовет нас к себе в гости. О, ему есть о чем порассказать, его биография не покажется нам скучной. Вот тогда он и пояснит, что значат слова «Чита» и «Настя».

Мы удивлены этой встречей. Строим догадки, всю фантазируем. Женщины придают домыслам романтическую окраску: ведь из двух русских слов одно имя девушки — Настя. Мы дружно хохочем.

А наш пароходик упрямо карабкается на волну, дребезжащим голосом приветствует встречные суда. Пахнет йодом и рыбой, пахнет близким берегом. Солн-

це скатывается в море, багровое, усталое, но еще жаркое. Оно скользит вдоль правого борта и постепенно скрывается за кормой, в гривастые волны.

Скрипучий, расшатанный причал весь в рыбьей чешуе, на кольях сушатся сети, а на швартующийся пароход глазают сбежавшиеся ребятишки. Встречающие нас японцы непрестанно кланяются, складывают на груди руки. Еще раз на прощание приветливо машет рукой Наката. И напоминает — он ждет в гости.

Узкие улочки сплошь забиты лавчонками. Они, словно пчелиные соты, лепятся впритык друг к другу. Чем только не торгуют здесь, какие только товары не выставлены. Увидев иностранцев, торговый ряд приходит в возбуждение, голоса становятся громче, взгляды просительнее. Мы, ошарашенные этим гамом, растерянно оглядываемся, вопросительно смотрим на гидов. А они заговорщически улыбаются: мол, выкручивайтесь сами. Выбираем что подиковиннее и стараемся поскорее выбраться из этой толчеи.

Я держу в руках маску, а хозяин лавчонки суетится, что-то кричит в дальние комнаты. Раздвигается бамбуковая стенка, и, семена мелкими шажками, в помещенье влывает его жена. Приседание и поклоны, длинное, непонятное для меня приветствие. Выручает наша переводчица. Она отлично знает японский язык, чем приводит в изумление владельца лавочки. Ага, все понятно. Трогательно и смешно. Не может ли господин вкратце рассказать историю страны, из которой прибыл, как там одеваются, что едят. Хозяин уселся на циновку — он готов слушать. Вот и попробуй в нескольких словах поведай о своей стране!

Тропическая ночь совсем спеленала городок, когда мы наконец добрались до отеля, если так можно назвать двухэтажный домишко, построенный невесть когда. У входа вопросительным знаком застыл хозяин. На зависть своим конкурентам (а в городке еще три «отеля»), у него такая сенсация — советские постояльцы. Есть от чего поволноваться. Он суетлив, предупредителен, легок на ногу. Взгляд из-под косматых бровей — и вся прислуга засновала, как челноки в ткацких станках, туда-сюда — и дом наполнился беготней, резкими командами. Девушки берут наши чемоданы. Пытаемся сопротивляться. О, к такому здесь не привыкли. Японка умоляюще смотрит на меня и тянет чемодан к

себе. Ее подстегивает выразительный взгляд хозяина — попробуй не угоди гостю. Я понимаю ее пикантное положение. Иду на компромисс. Держимся за ручку вдвоем, и, по-моему, она рада, что ее доленое участие сводится к символическому.

В холле сбрасываем обувь. Начинается церемония переобувания. Бесконечный строй шлепающих. В зеленых надо пройти от вестибюля до своего номера. Здесь наготове красные. Их зона — от коридора до прихожей. Опять замена, теперь уже на оранжевые. Старательно запоминаешь последовательность, но с непривычки это трудно. Через час вижу в коридоре своих «разнолапотных» товарищей. Надо быстрее все мотать на ус, чтобы не попасть впросак.

Вступление на татами * — это еще полдела. Впереди новая процедура. Девушка мигом стаскивает пиджак, развязывает галстук. Еще минута — и ты без рубашки и брюк. Сердце тревожно замирает — будет ли предел такому «стриптизу»? Но волнение напрасно — кое-что остается. Из шкафа извлекается целлофановый пакет, застегнутый на «молнию». Знаменитое кимоно. Без него в отеле нельзя. Мгновенно облачают в это диковинное одеяние.

О чем-то щебечут служанки, хлопотливо расстилая постель. Они зажигают особые горелки с ароматическими благовониями, в беспорядочном эфире находят минорную мелодию. И, пожелав спокойной ночи, девушки удаляются. Теперь впору и оглядеться...

Но мы не забыли о приглашении Наката. Быстро сбрасываем кимоно и натягиваем привычную одежду. Через несколько минут шагаем по гулким улочкам городка. Настойчиво кричат лоточники, предлагая запоздалым прохожим разную снедь, кастаньетами стучат гэта. Улочки узкие, полутемные, только призывно светятся иероглифы заведений да певуче заывают в них редких прохожих. Мы выглядим слишком иноземцами, чтобы не вызывать жгучего интереса зазывальщиц.

Видя, что словесные увещания не действуют на нас, назойливая просительница вцепляется в рукав и силком тянет в заведение под названием «Восемь Будд».

* Циновка.

Нелегко отделаться, никакие отговорки не действуют. На шум выбегает хозяйка, перед которой в почтительном поклоне застывают зазывальщицы. Хозяйке на вид лет двадцать восемь, а юные девушки обращаются к ней не иначе как «наша мама».

Хотя бы просто кружку холодного пива? Не понравится беседовать с обычными гейшами, она позовет «тематических». Господа хотят поговорить о Вьетнаме? Пожалуйста, вот эта специализируется по грязной войне. (Мадам слышала русскую речь и быстро сообразила, что мы не американцы!) Интересуют театр, музыка, литература? Еле-еле отговариваемся и, наконец, попадаем на центральную улицу. А здесь уж рукой подать до дома Наката.

Визит довольно поздний, и вроде бы неловко звонить. Но хозяин просил заходить в любое время дня и ночи. Тем более что завтра мы уезжаем из этого городка.

Накато еще не спит. Садимся. Начинается неторопливое чаепитие. Острые глаза хозяина смотрят приветливо и тепло. Он начинает разговор, когда наше терпение уже на пределе:

— А вы знаете, у кого вы в гостях? — Испытующе смотрит на нас, а потом лукаво бросает: — У смертника, у самого настоящего камикадзе.

Разговаривать с живым смертником — такого не предположит и самая шальная фантазия. Да и что мы знаем об этой категории людей? По каким-то искаженным рассказам представлялись они примерно такими: элегантные усики, фанатичный взгляд, кривой нож или хищное тело торпеды.

Я смотрю на хозяина. Плавные движения, добрые складки вокруг рта, сетка морщин на пергаментной коже.

— Я был третьим сыном в семье крупного феодала. Мой отец, — тут Наката скорбно потупил глаза, — был настоящим самураем. Властный, жестокий, он с колыбели вбивал в нас мораль: нет ничего выше, чем небесная империя, и ничего священнее, чем император. О ценности жизни отец говорил презрительно. Настоящий самурай не должен уподобляться женщине и трусливо цепляться за нее. Когда он говорил об императоре, был он весь какой-то отрешенный, словно статуя Будды в нашем храме. Мы играли самодельными мечами и

деревянными пистолетами. Изредка домой наезжал старший брат, гордость семьи. Он был капитаном и уже успел отличиться в Маньчжурии. Вечерами слушали его рассказы. Мне стукнуло семнадцать, и я заикнулся отцу о дальнейшей своей судьбе. По совести говоря, мне не хотелось в армию. Очень нравилась история, мечтал поступить в университет. Помню крик отца. Разгневанный, свирепый, он топал ногами, кричал на мать, швырял в нас все, что попадало под руку. «Вырастил слюнтяя на свою голову! Я думал, что имею сыновей, а не разнеженных бабенок. Стыд, срам на седую голову!» Мне было жалко отца, неловко от насмешек товарищей, и я пошел в офицерское училище.

Пытаюсь представить себе нашего хозяина учителем истории. Ему бы очень это подошло. И что-то не видится мне на нем военный мундир. Будто угадав мои мысли, хозяин насмешливо бросает:

— Еще каким солдатом стал, первый сорт. После года учебы шел впереди всех. Помню, как из штаба приехал генерал. Такой маленький, а глаза злющие. По училищу поползли слухи: отбирают. Вечерами курсанты шептались, гадали, кого отберут. Сейчас вспомню — и жутко. Ведь в смертники определяли. Многие мечтали попасть в клан обреченных. Потом генерал беседовал с каждым «счастливчиком». И опять о духе, об империи, о долге нации. Что и говорить, он умел забить мальчишеские головы, зажечь молодые сердца.

Бывший смертник долго рассказывает нам о большом ассортименте удовольствий и развлечений, которыми встретила их столица. О том, как прожигались жизни и притуплялись чувства.

Раздумчиво покачал головой и, вновь поймав далекие воспоминания, продолжил:

— «Сладкая жизнь» быстро кончилась. Меня направили во флот, и стал я человеком-торпедой. Знал, что дни сочтены, в первом же бою придется умирать за императора. На корабле ко мне относились с почтением. Старшие офицеры козыряли первыми, матросы вытягивались в струнку. Молодому самолюбию льстило такое внимание. Но вокруг был вакуум, вроде сквозит от меня могилой. Не раз спина чувствовала такие взгляды, какими провожают покойника. Но гнал трусливые мысли прочь, храбрился на людях. Отец о смер-

ти писал как о деле решенном, дескать, я и жил для того, чтобы красиво умереть молодым.

И такой случай скоро представился. Катер вышел на перехват крупного американского транспорта. Наш командир хвастливо радовался, что разделается с этой посудинкой в два счета. Но орешек оказался крепким — транспорт шел под сильным конвоем. Дымовая завеса на первых порах помогла нам. Но в трех кабельтовых сторожевики открыли ураганный огонь. За какие-то пять минут катер получил три пробоины, прямым попаданием американцы вывели из строя пушку и спаренный пулемет. Тут бы в самое время удирать, нырнуть в дымовую завесу, а командир полез на рожон. Настал мой черед. Торпеда легко скользнула в воду и словно акула понеслась к транспорту. Считанные секунды... Из воды встает серая громадина. Нужно целить в середину борта, чтобы разломить корабль пополам. В эти секунды в памяти промелькнула вся жизнь. А над головой яркое солнце, синее небо, обезумевшие от стрельбы чайки.

Что-то стряслось с торпедой, не сработали какие-то механизмы. И представляете, я спасся. Катер американцы добились, и никого из команды не осталось в живых, а меня подобрала рыбацкая шхуна. В части долго допытывались, почему жив? Объяснял, как было, да, видимо, не до конца поверили. После этого списали с флота.

А теперь о «Насте» и «Чите». В сорок пятом я уже был в Квантунской армии, в должности командира батальона. Удар ваших армий был ошеломляющим, и мы бежали без оглядки. С флангов охватывали ваши танки и монгольская конница. Зажали в клещи наш полк. И безумцы отстреливались до последнего патрона, а потом вспарывали себе животы. Когда сопротивление потерял всякий смысл, молоденькие лейтенанты посмотрели на меня. Они ждали. Я должен был подать пример подчиненным и выпустить себе кишки. Я подал команду сложить оружие и выбросить белый флаг. Один «зеленый» офицеришка, не целясь, выстрелил в меня. Пуля чиркнула у виска, содрала кожу. Кругом стояли ваши автоматчики — кольцо сомкнулось. Лейтенант выхватил нож и вспорол себе живот. Я хорошо помню выражение лиц у советских солдат: презрение, сострадание и отвращение при виде бессмысленной смерти.

Чего нам только не говорили об ужасах плена! А к нам хорошо относились, сносно кормили.

Через год я ходил без конвоя. Работал под Читой на строительстве. Рядом с нами трудились женщины. Вот тогда и пожалела меня русская женщина — уж очень был я худой и слабый. Она отрывала от своего скудного пайка последние крохи, чтобы подкормить меня, японского военнопленного.

Длинными ночами, когда не шел сон, было над чем подумать. Солдаты благодарили меня, что предотвратил я массовое самоубийство. И стал я в бараке за главного. А думы ползли и ползли в голову...

Наката вдруг резко оборвал повествование. Он налил еще по чашечке сакэ и, прогнав воспоминания, вернулся в сегодняшний день:

— Жаль, что ошибки молодости видит только старость. Повторно никому не дан земной путь, чтобы исправлять, переделывать. Теперь я член социалистической партии. Уже двадцать лет в партии, можно сказать, ветеран. На этом острове в нашу ячейку тянутся многие. И ваш приезд очень кстати.

Он показывает нам сегодняшние газеты. О нашей группе несколько статей. Правда, никто не беседовал с нами, и материалы, мягко говоря, с передержками. Наката улыбается и с горечью замечает:

— Не для всех ваш приезд сюда — радость. Коекому очень не по душе, что увидят живых, а не карикатурных советских людей.

Серенький рассвет вползал в небольшую комнатку Наката. Он погасил свет, раздвинул бумажные створки. Рыбным запахом потянуло с моря. Мы все-таки решились на последний вопрос: почему Наката один? Хозяин глубоко вздохнул, глаза его погрустнели:

— Отец проклял меня, а жена ушла. Камикадзе должен был умереть. И для них меня нет. Но это уже пережито, главное, чтобы двадцатилетние не повторили ошибок старших.

Звонким утром мы уходили из гостеприимного домика.

А по дороге в Москву, когда наш лайнер мчался в бездонной сини сибирского неба, мы подумали, что где-то далеко внизу живет русская добрая женщина Настя, о которой до сих пор помнит бывший камикадзе.

СЫН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДЕРЕВНЮ

Итиро вновь приказал себе спать. Но сон не шел. Голова была ясной, мысль работала четко, в думах юноша продолжал прервавшийся разговор с отцом.

Итиро давно ждал этого вечера. Как и все японские юноши, он знал, что наступит такой день, когда отец позовет его к столу, протянет чашечку подогретого сакэ и начнет мужской разговор. Так водится с незапамятных времен, на этом принципе держится мужская линия крестьянской семьи.

Итиро знал, о чем заговорит отец. Что уже пятьдесят раз он видел цветущую сакуру, а его руки не единожды перелопатили священную землю предков, что годы берут свое и пора подумать о покое. И скажет отец о своей радости видеть старшего сына таким разумным и здоровым. И быть ему хорошим хозяином на родовом наделе. «Пятьдесят стукнуло мне, — добавит отец, — и теперь я спокоен. Есть кому заменить меня. Земля не придет в упадок, да и дом с приходом в нее молодой хозяйки обретет новую силу и свежесть».

Примерно так все и было. Уважительный Итиро преданно смотрел на отца, не возражал ему. Молчал Итиро, постигая смысл отцовского напутствия. Его отец не ахти какой говорун. Слова у него неуклюжие, тяжелые, но сердечные и ладные. Он высказал все и заговорил о молодой хозяйке.

Давно они с матерью приглядели будущую жену для Итиро. Статная девушка, ладони широкие, работающие, кости крепкие, к труду сизмальства приучена. Да и лицом бог не обидел, посмотреть приятно. Конечно, городским, крашенным, не чета, но зато уважительная, пригожая. И живет вблизи, в соседней деревне, а родители степенные, рассудительные люди. Насчет свадьбы тоже обговорено, и о деньгах поладили. Вот управимся с работой, можно и праздник устроить. Отпразднуем свадьбу в селе, потом на Фудзи съездите. Ну а уж после свадебного путешествия принимайте дом и землю. Хозяйничайте да о стариках не забывайте.

Холодок сжимал и отпускал сердце Итиро. Пока речь шла о хозяйстве, о земле, он и не собирался перечить отцу. Так испокон веков было — старший сын становился хозяином. Но когда отец заговорил о девушке из соседней деревни, юноша огорчился. Не хотел

Итиро жениться на той, которую и в глаза не видел.

Сын молча дослушал отца. Пригубил сакэ, выдержал паузу. Отец в недоумении глядел на старшего. Он, верно, чего-то не понимал; ведь после его речи должны последовать благодарности. Итиро не высказал признательности и только слегка поклонился отцу. Такими поклонами отделяются на улицах случайные знакомые. Из-за перегородки выглянула встревоженная мать. Она слушала разговор мужчин и с нетерпением ждала ответной, благодарной речи сына.

Пауза затягивалась.

Наконец Итиро заставил себя поднять глаза. Выдержал пристальный отцовский взгляд. Заговорил быстро, срывающимся от волнения голосом. Рассыпал благодарности отцу и матери. За их бесконечную заботу и внимание. Воздал хвалу всей фамилии, хорошими словами помянул предков, память которых нетленна и свята для него, продолжателя рода Мацумото. И он счастлив, что отец доверяет ему надел предков.

Итиро говорил без умолку, обходя главное, боясь высказать несогласие с родительской волей.

Терпение отца кончилось, он начал тихонько постукивать пальцами по столу, а мать испуганно глядела на мужчин. Старый Мацумото резко оборвал сына:

— Ловко петляешь, сын, язык привешен ладно. Ты скажи главное: когда молодая хозяйка сменит уставшую мать?

— Скоро, отец, скоро, — обрадованно ответил Итиро.

— Ну и хвала твоему разуму, — примиряюще выдохнул отец, — значит, и невесту можно смотреть.

Итиро уклончиво протянул:

— Не торопись, отец, мне еще надо посоветоваться с учителем.

Мацумото-старший все понял. Сын ослушался его, он пошел против воли родителей.

Но пятьдесят — это еще не слабость, он еще хозяин в доме и сейчас волен поступить со строптивым сыном по всей строгости. Выгнать из дому и отдать право первородства младшему брату.

Рассказать односельчанам о поступке Итиро?

Старый Мацумото гордо взглянул на жену. Пусть и она не думает, что ослабла отцовская рука, размякла воля. Он не выгонит сейчас Итиро, он позволит ему

одуматься, раскаяться, а в этом и будет мужская твердость.

— Непутевые мысли у тебя сегодня. Кто заботливее выберет тебе жену, чем родители? Уж не сам ли в Токио высмотришь? Сердце у меня отходчивое, и потому хочу забыть твои дерзкие речи. Поутру мысли яснее, да и пары сакэ выветрятся. Вот утром и поблагодаришь нас с матерью за все. Ночь длинная, есть время подумать.

Итиро крутился на циновке, смотрел в потолок, тер ладонями виски, отгоняя видения, а картины яркие, сжимающие сердце, плыли перед глазами.

Робким деревенским юношей впервые приехал он в праздничный весенний город. До этого о большом Токио знал понаслышке, видел столицу в кино и на картинках. Итиро растерялся среди городской толпы, почувствовал себя неуютно на пропахших бензином улицах, шарахался от нескончаемых автомобильных потоков. Он давно выполнил наказания отца и теперь без цели слонялся по улицам. И все не мог надивиться простой вещи: всего шесть часов пути — и из тихой сельской префектуры, где слышно, как журчат горные речки и поют птицы, он попал в чужой мир каменных громад и ревущих улиц. То была и его Япония, и вроде совсем незнакомая страна. Одно дело все это видеть по телевидению, а другое — попасть в гомонящий, суетливый мир.

Люди спешили, сновали взад и вперед, улыбались и ссорились, на ходу ели, на ходу покупали. Где это видано, чтобы среди бела дня парень шел с девушкой. И совсем странно: никто не обращал на это внимания, ничей укоризненный взгляд не колол спины влюбленным.

Итиро усмехался тогда, глядя на парочки. Еще в школе они много спорили про любовь. Правда, как рассказывают родители, в их молодости споров не было, была женитьба и рассуждать на отвлеченные темы не было резона. Однокурсники Итиры спорили до хрипоты, противоположные лагеря разили друг друга убийственными аргументами. Поборники взаимности в браке корили твердолобых приверженцев старины, укоряя их в феодальных воззрениях, деспотизме. Блюстители старых канонов снисходительно отшучивались, заявляя, что душа японца — особый инструмент и за-

имствовать чужеземные привычки сынам Страны восходящего солнца зазорно и унизительно.

Итиро в споры не лез, больше отмалчивался, но в душе был на стороне тех, кто ратовал за незабываемость освященных временем порядков. Да и жизнь подтверждала: пошумев в школе о любви, самые ярые сторонники взаимного чувства, с годами сникали, становились покладистыми наследниками отцовских наделов и преспокойненько женились на дочках богатеев, а своих жен впервые видели на собственных свадьбах.

И все-таки необычно это — он и она в обнимку. Итиро идет вслед за парочкой и невольно слышит разговор влюбленных. Удивляется, не слыша в голосе девушки подобострастия и учтивости. Она заливисто смеется, что-то дерзкое говорит парню, а тот, не найдя остроумный ответ, неловко замолкает. Поглядели бы в их деревне на такую картину. Расскажи — засмеют, старики все кости перемоют, свихнувшимся объявят.

А может, и он, Итиро, не понимает новые времена? И наверное, смешон со своим провинциальным пуританством? Вот взять сейчас и подойти к парочке. И дерзко спросить: хорошо ли им вместе, счастливы ли они? Но, конечно, Итиро не сделает этого, где ему решиться на такой шаг! Итиро незаметно для себя попал в парк, куда и следовали молодые люди, за которыми он неотступно двигался.

В парке Уэно распустилась вишня. Розовые соцветия укрыли деревья уютного парка, многоэтажные громады вплотную придвинулись к зеленеющему оазису. Тысячи людей сновали между деревьями, белые рубашки мужчин, нарядные блузки женщин создавали праздничный фон для нежных цветов сакуры. Молодые девушки оживленно болтали, по лужайке носились ребяташки. Большому нарядному празднику было тесно в парке, он выплескивался, растекался в улицы и тупички, вовлекая в свое бесшабашное кратковременное веселье все новых и новых людей.

Водоворот закрутил Итиро. Он держался за чью-то руку и кружился в хороводе. Исчезла стеснительность, буйное веселье хмелем кинулось в голову, померкли заботы о ночлеге, о билете домой.

Вот тогда он и увидел глаза Мирико. Большие и влажные, они отражали синее небо и розовый цвет сакуры.

Вечером Итиро проводил девушку домой.

Так он познакомился с Мирико.

...Итиро ворочается на циновке, и вновь токийские картины встают перед глазами. Он слышит, как за тонкой перегородкой тяжело вздыхает отец. Старик потрясен его упрямством, уязвленное самолюбие не дает заснуть главе семьи. Видано ли такое в их роду, чтобы сын ослушался отца? И старик, стиснув зубы, ждет рассвета, чтобы услышать покаянные слова. Итиро представляет, что случится утром: разгневанный отец прогонит его из дому. Трусливая мыслишка буравит мозг: стоит ли упрямиться и гневить родителей? Ведь тысячи поколений женились по строго заведенному обычаю...

Но глядят из мрака большие глаза Мирико, укоризненно и строго глядит девушка. Осуждает, презрительно улыбается. И стыдно становится Итиро, полыхают огнем щеки, сухость вяжет рот. Юноша тянется к сигарете. Ее огонек высвечивает столик, приставленный к стене, блестящую шкалу спящего транзистора. Вот если бы включить сейчас приемник, да еще и послушать, как живут люди на большой и такой разной земле...

Утро пришло в дом настороженным, молчаливым. Отец пил чай и украдкой поглядывал на сына. Нехитрый завтрак тянулся долго, но мужчины не обмолвились и словом.

Отец поднялся с циновки, натянул широкополую шляпу и вышел из дому. Итиро решил использовать последний шанс. Сейчас он тоже пойдет на рисовое поле и все объяснит отцу. С глазу на глаз, чтобы не слышала мать. Он скажет, что есть у него в городе невеста и только она ему нравится. А насчет дома пусть не беспокоятся родители — старательной хозяйкой будет Мирико. Вот съездит Итиро в Токио, уговорит девушку...

Мацумото-старший не удивился, заслышав шаги сына. Он опустил в воду рассаду, распрямился и выжидающе посмотрел на Итиро. Юноша заговорил горячо, просительно:

— Отец, я вчера был дерзок. И ты прости меня. Больше твои уши не услышат таких речей. Я выполню твою волю и женюсь. Только уступи в одном — я сам выберу невесту. Она у меня уже есть. — Итиро ждал вспышки, но неожиданно увидел добрые, поблекшие отцовские глаза.

— Неволить не хочу, хоть и будут смеяться люди. Молодость твердит одно — любовь. А что это такое, объясни мне, зачем она, эта любовь? Или мы с матерью плохо жили?

Итиро вежливо поклонился. Еще и еще. Благодарность и почтительность, почтительность и благодарность.

— Согласен, значит. А жену я впервые на свадьбе увидел.

— Но то время ушло, отец. Теперь другие порядки.

— Это в обнимку по улицам ходить?

— Зачем же так? И я любви на людях не одобряю. А вот узнать будущую жену — другое дело.

— И кто же твоя будущая?

— Ты отпусти меня в город, тогда и посмотришь.

Мацумото-старший вновь склонился над рассадой и ворчливо бросил:

— Ну вези свою красавицу. Да только в деревне не проговорись, что сам жену выбирал.

Смелость не покидала Итиро всю дорогу. Он радостно строил планы. И как заживут они с Мирико, как зазвонят детские голоса в доме, сколько риса вырастят их молодые руки. Он уже наизусть выучил все, что скажет девушке. И пусть она сразу не согласится, пусть повременит — ничего, он подождет. Главное, родители согласились, а сроки — дело второе.

...Итиро подошел к универмагу, когда наступило время обеда. На улицу прорвалась целая вереница велосипедистов. Одной рукой каждый управлялся с рулем, а другой виртуозно держал поднос, на котором в несколько рядов стояли миски с горячей, дымящейся лапшой. В маленьком кафе толпились девушки-продавщицы. Униформа делала их похожими друг на друга, и Итиро с трудом разыскал Мирико. Девушка не могла скрыть радости. И, быстро покончив с обедом, она повела Итиро к небольшому скверу, что зеленым хохолком прилепился позади железобетонной громады магазина. Они уселись на скамейку — у девушки еще оставалось время.

Итиро мялся, краснел — начинать разговор было трудно. Уже сказаны приличествующие случаю вежливые слова, осведомились друг у друга о здоровье. Драгоценные минуты бежали, и юноша решился:

— Дорогая Мирико, я приехал за тобой. Поженимся, когда только захочешь, и заживем мы с тобой отлично. Дом у нас еще сносный, земли целый гектар, так что хозяйствовать можно. Я книжки по земледелию изучаю, руки работы не боятся, значит, бедность в дом не постучится. А когда в него войдешь ты, Мирико, не будет человека счастливее меня. Да и твое будущее станет надежным: подумай только, хозяйка земли.

И хоть Мирико не перебила его, а слушала внимательно и заинтересованно, Итиро насторожился и последние слова произнес неуверенно.

Девушка отбросила смоляную прядь, сползшую на лоб, положила руку на плечо юноши и тихо ответила:

— Мне и радостно и горько слушать тебя. Быть вместе с тобой согласна, но крестьянствовать не хочу. Всю жизнь ковыряться на клочке земли, гнуть спину от зари до зари? Крошечный надел твоих предков — это же приговор на вечное рабство. Состаримся, надорвемся мы с тобой на земле, а богатеи все равно осият нас. Все бегут из деревни, деревни разоряются, а ты тянешь меня в кабалу. Нет уж, дороги бабок и прабабок не для меня.

Мирико взглянула на поникшего Итиро и уже мягче, ласковее добавила:

— Хочешь быть вместе — приезжай в город. Здесь работа найдется.

— Но долг не позволит мне бросить родителей. Я же старший в семье, и земля предков — мое наследство.

— Но, дорогой Итиро, времена меняются. Меняй и ты свои взгляды.

— А чем уж так сладок город? Что у тебя здесь, легкий хлеб? Тоже целый день прислуживаешь другим.

— Все это так. Но я ничем не связана, куда хочу, туда и пойду.

Стайки девушек в униформе потянулись к универсаму. Поднялась и Мирико. Итиро печальными глазами смотрел на девушку. Противоречия раздирали душу. По сердцу ему Мирико, но сыновний долг превыше всего. Так воспитан юноша, и отступить от традиций он не сможет.

Итиро вернулся в деревню, смиренный и жалкий. Его удрученный вид сказал родителям все. Избранница сына не пошла за деревенского парня. Она не захотела

стать пожизненной батрачкой у свекрови, на земле предков.

Отец не стал утешать Итиро. В глубине души он был счастлив — сын выполнит волю родителей и продолжит их крестьянский род.

В следующий праздник Итиро поедет в соседнюю деревню, чтобы взглянуть на свою невесту.

БУНТ МАЛЕНЬКОЙ НОДЗОМИ

Осенними вечерами тоскливо и одиноко. Жалобно стонет за стеной ветер, языкастые волны угрожающе лижут порог хижины. Скупое горит светильник, полутемные блики качаются на лице девушки. И кажется Нодзومي, что в комнату вошли давно умершие предки. Дедушка все больше рассказывает о давних временах, когда благородные всадники странствовали по острову и вступались за бедняков. Нодзومي иногда кажется, что дедушка выдумывает счастливые концы для своих длинных сказок. Насколько знает Нодзومي историю по учебникам, там все больше воевали. И мало встречала она рассказов про защитников бедных. Но дедушка так красочно рассказывает, что ему хочется верить.

Он очень старый, ее дедушка. Когда она спрашивает, сколько ему лет, он близоруко щурится, что-то отсчитывает на пальцах, а потом, сбившись со счета, ласково гладит ее по щеке, отшучивается: «Годов мне, внучка, столько, сколько песчинок на берегу. Помню, что свадьбу играли в о-сёгацу — первый месяц Нового года. А было это семьдесят лет назад. Полвека минуло, как бабушка твоя ушла туда, — и искривленный палец тычет в потолок. — Часто она мне снится, видно, зовет к себе. Пора мне, дочка, да здесь не все уладил. Вот пристрою тебя к жизни, и надо трогаться в путь».

Дедушка в последние годы совсем ослаб. Раньше во всем поселке трудно было сыскать ему ровню. Ничья сеть не приходила такой полной, никто не вытаскивал столько крупных рыбин. А теперь весло дрожит в руках, джонка не слушается немощного старика, часто подводят глаза. Он уже не решается выходить в море. Такое покорное в молодости, оно сейчас стало коварным и буйным. Неделю назад не вернулись два сосед-

ских парня. Три дня поселок их ждал, все глаза проглядела мать, и только на четвертые сутки мстительное море прибило к берегу тела несчастных.

Старики в первый же день отправились к Судзукисан просить моторный бот, чтобы поискать терпящих бедствие. Судзуки принял их вежливо, даже рассадил на циновки, расспросил о здоровье, сочувственно поохал и отпустил с миром. Его сын с приятелем через час должны вернуться с прогулки. И вот тогда Судзукисан все решит. Он не заикнулся о прогулочной яхте, а просители не решились о ней напомнить.

В поселке судачат об этом, за глаза поругивают богача, но при встречах униженно кланяются Судзуки, заискивающе смотрят ему в глаза. И только дедушка гордо, не повернув головы, проходит мимо, а может, подслеповатые глаза просто не узнают первого богача поселка? Дедушке наплевать на этого важного индюка, он и так немного хорошего видел от Судзуки, а теперь уж и без него как-нибудь обойдется. Слава богу, на участке рис принялся хорошо, морской капусты запас вдоволь, так что они с Нодзومي перебытуют и без подачек. Главное, что успел вернуть Судзуки долг, а остальное утрясется как-нибудь.

Пока дедушка рассказывал длинную историю, внучка, свернувшись калачиком на циновке, уснула. Ну и хорошо, пусть подремлет. Потрескивают угли в хибати, и тепло от жаровни идет низом, оно хорошо пробирает ревматические ноги.

Под свист ветра легко думается. Старику нужно многое решить. Он смотрит на уснувшую девушку, и вдруг простое открытие поражает его. Проглядел, совсем проглядел старый, как невестой стала внучка. Все ребенком ее считал, а гляди-ка, совсем взрослая женщина в доме объявилась. Сколько теперь забот ляжет на его старые плечи! Ихара смотрит на полуоткрытые пухлые губы, на темные, отливающие гляncем волосы внучки. И радуется про себя — красавица вымала.

Но беспокойство сильнее радости — долго ли обидеть сироту, когда нет родительской защиты? И тотчас перед глазами старика как живой встает отец Нодзومي. Статный парень, храбрый моряк, он за несколько дней «околдовал» его дочь. Она потеряла голову и, как ни противился Ихара, вышла замуж за моряка. Но, слава

всевышнему, парень оказался что надо. Работящий, вежливый со стариками, он быстро стал любимцем поселка. Ихара тоже любовался зятем.

Часто отлучался зять в город, и поначалу думалось, что уходит к приятелям выпить сакэ, или, что греха таить, поразвлекаться в обществе женщин. На это бы Ихара посмотрел сквозь пальцы — дело молодое, и многие мужчины так поступают. Но зять приходил домой всегда с ясной головой.

Нодзومي часто спрашивает про отца, она хочет все знать про него. То, что он был хорошим, об этом ей неустанно твердит дедушка. Но он честно и беспомощно разводит руками, когда речь заходит о другом: о какой жизни мечтал и к какой партии принадлежал ее отец?

Но старик хорошо помнит, как не стало отца у Нодзومي. Погода выдалась отменной, и ничто не предвещало беды. Деловито складывал моряк снасти, шутил с женой, широко улыбался тестю. Ихара смотрел на небо, безоблачное, с прозрачными перистыми облаками, на разомлевшее от жары ленивое море и радовался предстоящему улову.

Недоброе предчувствие подкралось раньше, чем непогода. Солнце скатилось в западные моря, возвратились все рыбаки, но сколько ни всматривался подслеповатыми глазами Ихара в горизонт, кроме легкой ряби ничего не могли увидеть его выцветшие зрачки. Двухлетняя Нодзومي лепетала у ног, уставившись в язычок светильника, тягостно вздыхала дочь. Страшные дни тянулись медленно, их отсчет становился все безнадежнее. А потом рыбацкая молва от поселка к поселку принесла и к ним страшную весть — подорвался моряк на бродячей мине, сорвавшейся с якоря.

Дочка не плакала. Ее глаза, сухие и жесткие, пугали старика. Она часто прижимала к груди Нодзومي, страстно и безнадежно, будто прощаясь с ней.

Разве мог старик предугадать, что вдобавок и бесчестье упадет на его голову. Однажды утром исчезла дочь. Коротенькая записка объяснила все. Искать ее не нужно, она уходит на заработки в Токио. Уж Ихара-то знал, какие заработки можно найти там. Стыд пригнул старика к земле. Вся его жизнь, вернее безрадостный ее остаток, сошлась на внучке. Он не щадил себя. И некоторые дивились тому, как удастся старику так

одевать Нодзоми, учить ее в школе, баловать доступными подарками и радостями.

Ихара все рассказывал девушке про отца, но когда заходила речь о матери, терялся, обрывал разговор и, тяжело вздохнув, пояснял, что умерла его дочь скоропостижно. Уехала в Токио, и там приключилось несчастье.

Думы, думы, бегут они вразброс, и нелегко совладать с ними старику. Он подвигает ноги ближе к хибати, одеялом укрывает заснувшую внучку и старается представить завтрашний день.

Хина Мацури — праздник девочек — очень древнее торжество. В его молодости с утра празднично гудел поселок, а сколько выпивали мужчины сакэ! Задолго до праздника в каждом доме готовили куклы, одну наряднее другой. Размалевывали их кто как умел. Целый день забавлялась с куклами праздничная толпа, а к вечеру их выбрасывали в море. Говорили старики, что, выбросив куклу, принесешь в дом очищение и достаток. Всегда считалось, что многие напасти несут женщины, а если разделался с куклой — значит освобождился от темных женских сил.

Теперь к таким рассказам молодые относятся со смешком, они не боятся всех этих поверий. Если по совести, то Ихара не согласен, что все зло от женщин, но попробуй о таком поговори со своими сверстниками — засмеют старики.

...Утро, тихое, пропахшее рыбой и морем, выплескивает на деревенскую улицу разнаряженных парней, застенчивых девушек, сурово-величавых стариков и остроязычных, разбитных замужних женщин. Музыкантам община разрешает пригубить сакэ с утра, вот почему так ликует музыка, громко бьют барабаны. В длинном танце плывут и плывут молодые девушки, и часто глаза парней вспыхивают озорными огоньками.

Судзуки-сан устроился на качалке, кем-то принесенной заранее. Глаза его жадно следят за девушками. Гости из города тоже плотоядно причмокивают губами, что-то шепчут на ухо богатею, часто смеются. Слуга наполняет бокалы, подобострастно раскланивается и успевает отвечать на вопросы гостей.

Старый Ихара сидит в кружке степенных стариков. Он часто и беспокойно глядит в сторону Судзуки, не нравятся ему плотоядные взгляды богача, замечает он,

что Судзуки особенно пристально смотрит на его внучку.

К Ихара подходит слуга, церемненно раскланивается. Старик сразу и не сообразил, что от него хотят. Судзуки-сан желает поговорить с Ихара? Старик беспомощно оглядывается на своих дружков, но опустили глаза старики, молчат.

Свинец разлился до самых пяток, и чудится Ихара, что ступни его чугуном стучат и сердце бьется, будто мотор на яхте Судзуки. Он отвешивает низкий поклон Судзуки. Из всего лица ему видятся только фиолетовые прожилки на мясистом носу богача. Полные губы раскрывают целую пластину золотых зубов, и кажется, что не человек, а солнечные блики, заметавшиеся по желтому металлу, говорят заискивающим голосом:

— У гордого, но умного никогда поучиться не грех. Ихара-сан всегда на меня сердится, на поклоны едва отвечает, а Судзуки с радостью советовался бы с ним. Умного друга не купить за деньги, но и богатого человека умному отталкивать не пристало.

Судзуки желтозубо улыбнулся, поправил кимоно и как-то обиженно продолжил:

— Ихара-сан и не знает, что сделал для твоей семьи нелюбимый тобой Судзуки. Не будь меня, сидел бы твой зятек за решеткой. Полицейские не цацкаются, но если за кого-то замолвил слово Судзуки, — и богач гордо посмотрел на гостей из города, — тогда власти становятся покладистее. Или ты не знал про это, уважаемый Ихара-сан?

Старик отвесил средний поклон и, справившись с волнением первых минут, вежливо перебил:

— За хорошие слова спасибо, Судзуки-сан. Мы с внучкой помолимся за твое доброе сердце, да и душа моего зятя не останется безучастной к твоему заступничеству. Но, наверное, позвал ты меня не только за этим. Такой человек, как уважаемый Судзуки-сан, не будет тратить время на пустые слова, которые под стать в разговоре только женщинам.

Глазки Судзуки довольно сверкнули и, призвав взглядом в свидетели своих гостей, он перешел к делу:

— Умный с полуслова поймет, что нужен мужской разговор. Нелегко тебе с внучкой, годы не те. А за помощью прийти ко мне гордость не позволяет. Вы все мне как родные дети. И хоть ты дерзкий старик, но зла

я не помню. Решил я помочь тебе. Честь окажет тебе мой дом — я беру в служанки твою Нодзومي. Вон их сколько водят хоровод, а мой выбор пал только на нее. Попасть ко мне в дом каждая посчитает за счастье, но своим вниманием я мечу только твою семью.

Протянул старику чашечку сакэ. Ихара машинально взял ее, зубы лязгнули о чашку, и он сразу опомнился, осознал услышанное. Чинно поставил сакэ на столик. Выиграл время для ответа пустяковым замечанием:

— Благодарю за угощение, Судзуки-сан. Не любитель я дурманом голову забивать. Язык не слушается после сакэ, — хитро прищурил глаза, собрал всю свою опытность Ихара и испуганно запричитал: — Куда ей в богатый дом, там образованность да поворотливость нужны. А девчонка и мир-то толком не видела, много ли она набралась ума-разума от старого деда?

— Хитро петляешь, Ихара-сан. Совсем дурочкой представил внучку. Но все говорят другое. В школе первой идет, да и в компании за словом в карман не лезет. Чего не знает, тому научим...

Судзуки вытащил цветной платок, вытер лоснящееся лицо и резко закончил:

— Хватит торговаться. Радовался бы такой чести, а ты беседы пустые разводишь. Через три дня ждем Нодзومي.

Ихара мелкими шажками семенил к дому, а тяжелые мысли вбежали в дом раньше его. Уже и сейчас комнатка выглядела сиротливой, а очаг холодным и пустым. Но ведь этого еще не случилось. А когда произойдет? Ихара закрыл глаза и вздрогнул. Знает он, что такое служанка у Судзуки. Сколько их, молоденьких, перебивало в доме старого развратника. Одни со временем теряли стыд, а другие так всю жизнь и ходили, опустив глаза.

Ихара шепотом жаловался своему богу. Ну за что такие напасти на их семью, чем прогневал он всемогущего? Горькие слезы скатывались по пергаментным скулам.

Раскрасневшаяся Нодзومي застыла на пороге — она еще не видела деда плачущим. Оттягивать разговор не имело смысла. И старик выложил все оторопевшей внучке. Уставился на нее поблекшими, жалкими глазами. Нодзومي поняла одно — решать нужно самой,

столько беспомощности и страха прочитала она в глазах дедушки.

— К Судзуки не пойду, лучше вслед за отцом, чем на бесчестье.

Увидела, как вздрогнули бескровные губы старика, задергалось веко в неконтрольном тике и, опустившись на циновку, начала уговаривать Ихара. Она завтра же уедет в Токио. Устроится там на какую-нибудь фабрику. И пусть не волнуется дедушка — не потеряется в огромном городе. А начнет зарабатывать, поможет и ему.

— В Токио одна? Где каждый тротуар караулит неопытную девушку? — Старик закашлялся от возмущения.

— Лучше оставаться в лапах Судзуки? Ослушайся его, так все равно и здесь житья не будет, — голос Нодзومي срывался на крик.

Но Ихара заладил свое: «Только не в Токио, только не в Токио». Он умоляет внучку не ездить туда. Он не может сказать ей всю правду. А внучка не сдается. И тогда решается Ихара. Погладил темные волосы Нодзومي, обнял ее плечи и с трудом выдавил:

— Жива твоя мать. Семнадцать лет хранил я эту тайну. Но сейчас не могу молчать. Боюсь, как бы не свернула твоя дорога на материнскую тропинку.

Девушка слушает страшный рассказ. Она не вытирает слез. Они прочертили сверху вниз румяна, смыли подведенные ресницы, солью щипали губы. Острая жалость к родному человеку наполнила ее. На минуту представила дедушку: одного, немощного, опутанного сплетнями и пересудами. Вдруг захотелось смириться. Остаться в деревне, быть всегда рядом с дедушкой, пережить унижение, но принести в эту добрую хижину достаток и покой. И сразу же увидела заплывшее, холеное лицо Судзуки-сан. Вздрогнула, посмотрела на примолкшего дедушку. Подвинулась к нему, прижала к себе тщедушную, сухонькую фигурку и ласково зашептала:

— Давай снаряжай джонку. Завтра спозаранку и выйдем.

Дедушка безнадежно развел руками и пошел готовить лодку.

Хоть и недалекий путь до городка и пойдут они вдоль берега, а все-таки подготовиться не мешает.

Когда первый раз попадаешь в большой город, то ходишь оглушенный и потерянный. Нет ему конца и края, можно бродить много дней и дважды не ступить на одну и ту же улицу. Нодзومي, можно сказать, повезло. В конторе по найму чиновник дружелюбно оглядел вошедшую и стал расспрашивать, кто она и что хочет подыскать себе. Узнав в ней деревенскую уроженку, нахмурил лоб:

— На мелкие фабрики не суйся, не сладко им сейчас. Попробуй узнать на крупной фирме. По-моему, таких девушек они берут, если, конечно, есть сейчас необходимость в рабочих руках.

Аккуратно пересчитал замусоленные бумажки, сунул их в кассу и наставительно посоветовал:

— Только строптивость упрячь поглубже, покладистость и усердие ценит фирма, а тех, кто с гонором, они быстро выбрасывают на улицу.

Нодзومي шла по широкой нарядной улице. Стоглазая реклама бесновалась в небе, удивляла, манила, предлагала, настаивала. Стада машин, разбежавшись во всю прыть, вдруг натыкались на красный глаз светофора и, сверкая капотами, останавливались, словно подстреленные на лету. По тротуарам текла людская река.

На этой роскошной улице такой одинокой почувствовала себя маленькая Нодзومي. Стало стыдно за старомодные гэта, их деревянные подошвы стучали до неприличия громко, жалким выглядело застиранное кимоно, да и вся она, робкая и никому не нужная, производила, наверное, тягостное впечатление.

Если и завтрашние поиски ничего не дадут, то хоть впору возвращаться домой. Тетушка не показывает на дверь, но ее родня начинает посматривать косо на девушку. Этим людей тоже можно понять. Прокормить семерых на скудный заработок главы семьи — для этого нужно поломать голову. Вот и сегодня вопросительно вскинут глаза — с чем пришла?

Наконец девушку приняли на работу. В сборочном, на конвейере, две работницы ушли рожать, и счастливая Нодзومي заняла место одной из них. Она всегда была расторопной, но здесь пришлось жарко. У конвейера ни усталости, ни перебоев — он течет непрерывно, принося на спине все новые и новые детали. Вроде бы

операция и не хитрая: быстро берешь клемму и припаиваешь к ней проводок. Но неумолимая лента не дает зазеваться — чуть моргнешь, и пустая деталь уплывает из-под рук. Такое не прощают. На первый раз может обойтись и штрафом, а повторишь — очутишься за воротами. Ноют руки, затекают пальцы, ломит спина. Но выдержит все это Нодзومي, привыкнет и не хуже других будет управляться. Только бы не сорваться в первые дни, лишь бы зацепиться. Она спиной ощущает испытующий взгляд мастера. Пальцы двигаются все быстрее... Слава богу, пронесло. Он ничего не сказал и пошел дальше вдоль конвейера. Теперь надо снять напряжение с занемевшей кисти, хорошенько встряхнуть пальцы и выдержать этот ритм до обеда...

Дни потекли однообразные, как лента конвейера. Нодзومي раньше и не думала, что с виду легкая и чистая работа к концу смены может так выматывать. После работы ни о чем не хотелось думать, а только лежать неподвижно на циновке, каждой клеточкой ощущая блаженство отдыха.

Нодзومي уже подходила к проходной, когда ее нагнала соседка по конвейеру, бойкая и смазливая девушка. Она хлопнула Нодзومي по плечу и беззлобно сказала:

— Долго дичиться будешь? Думаешь, тебе одной трудно? Все так начинали. Сторониться нас не стоит, в одной упряжке ходим, и все надо делить поровну. — А потом лукаво прищурилась и тихо спросила: — Или с кавалером веселее? Прическу замужней всегда успеешь сделать, а вот, — и, грубовато усмехнувшись, закончила, — под прическу надо бы побольше вложить. — И уж совсем дружески: — Пойдем сегодня в парк? Да не маши руками, не женихов присматривать отправляемся. Есть и поважнее дела. Вечером большой митинг будет. Послушай умных людей, тогда и на себя по-другому взглянешь.

Нодзومي удивленно разглядывала девушку. Вот ведь как можно ошибиться в человеке! Показалась ей девушка ветреной, и думалось, что одни только танцурки да парни у нее в голове. А вот она о каких делах говорит.

Увидеть такое впервые очень интересно. Тьма народу, все какие-то возбужденные и праздничные. Народ стекается к центральной эстраде. Новая знакомая ста-

рается все разъяснить Нодзоми, но та плохо понимает, переспрашивает.

Ораторы бросают в толпу гневные слова, требуют от разговоров об эмансипации женщины перейти к делам. Говорят, что в стране электроники и полупроводников сохраняется постыдное, унижительное положение женщины в обществе, в глухих уголках любого острова богатеи живут и развлекаются, как и сотни лет назад.

После памятного вечера в парке что-то новое вошло в жизнь девушки. По-другому стала глядеть она на подруг. Оказывается, несколько месяцев работала словно незрячая. Подружки часто собирались на свои собрания, а она даже и не подозревала, что в цехе работает молодежная организация.

* * *

На прогретые воды озера Яманака наплывает туман. Облака закрыли склоны горы Фудзи, и только снежная шапка вулкана белеет на фоне пламенеющего неба. И оттого, что подножие укутано в вату облаков, кратер горы кажется оторванным от основания, свободно плывущим в закатном небе. Фантастически красивое зрелище! Прямо рекламная Япония с листов туристских проспектов. Все какое-то нереальное, сказочное. И священное озеро, и священная гора, и ожерелье пагод, повисших над водой, и традиционный танец самурайских времен, который мастерски исполняют японские друзья. Факелы выхватывают из сгустившихся сумерек раскрашенные маски, чудовищные драконы ощерили огромные клыки, на тысячи осколков разбивают вечернюю тишину звонкие гонги.

Сегодня японские друзья показывают советским гостям свое тысячелетнее искусство. Наспех сколоченный помост расцвечен десятками красок.

Нодзоми с увлечением глядит на сцену. Она только что рассказала нам историю своей жизни. Девушка счастлива, что ее послали на фестиваль советской и японской молодежи. Ей есть что сказать сверстникам. Не только о себе. Больше о своих замечательных подругах, для которых мир не замыкается теперь в четырех стенах гэнкана, в тесной прихожей, где и по сей день многие японки подают шлепанцы мужчинам.

Я спрашиваю, что случилось с дедом? Оказывается, Судзуки не простил дерзкой выходки и всю злость перенес на старого Ихара. Таинственно ушла вода с участка, и он остался без риса, власти вдруг обнаружили какие-то недоимки десятилетней давности. Нодзومي рассказывает о разных придирках, которыми богач вконец извел деда.

— Но все это кончилось, — радостно улыбнувшись, поясняет девушка. — Дедушка перебрался теперь ко мне. И хоть не сладко нам, но зато вместе.

Многое увидел и узнал Ихара в большом городе. Но, пожалуй, понял главное — за что боролся его зять. Удивленно пожимал плечами, слушая, как объясняет внука, кем был ее отец, чьи интересы он защищал. Повеселевшие глаза с любовью смотрят на маленькую Нодзومي. Ему совсем не стыдно поучиться и у внучки.

1966 год

СОДЕРЖАНИЕ

Неприбранный рай	5
Трудные шаги к истине	47
Здесь память всегда с тобой	78
Поклоны и транзисторы	103

Виноградов А. А.

В49 Где шумят чужие города. М., «Молодая гвардия», 1974.

136 с. с ил. (Ровесник шагает по планете).

Вместе с автором этой книги читатель побывает в США, в ФРГ, Японии и Франции. Его ждут интересные и неожиданные встречи, острые диспуты, полемические беседы. Читатель увидит быт и семейный уклад «среднего» гражданина США, в семье которого довелось жить автору, встретится с известным политическим деятелем Авереллом Гарриманом, побывает на берегах полноводной Миссисипи. Автор рассказывает о боевой дружбе французских и советских граждан в минувшей войне, о политических буднях Франции, знакомит с сегодняшней действительностью ФРГ, его очерки приведут читателя и на далекие Японские острова.

В $\frac{11105-305}{078(02)-74}$ 129-73

33и

Александр Александрович Виноградов

ГДЕ ШУМЯТ ЧУЖИЕ ГОРОДА

Редактор **Т. Костина**

Художник **И. Пяткин**

Художественный редактор **Н. Коробейников**

Технический редактор **Г. Лещинская**

Корректоры **Г. Трибунская, Т. Пескова**

Сдано в набор 5/VI 1974 г. Подписано к печати 4/XI 1974 г.
A01512. Формат 84×108^{1/32}. Бумага № 2. Печ. л. 4,25 (7,14).
Уч.-изд. л. 7,1. Тираж 130 000 экз. Цена 23 коп. Т. П. 1973 г.,
№ 129. Заказ 1211.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суще-
вская, 21.

23 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

